

Проза  
великих



**АЛЕКСАНДРА  
КОЛЛОНТАЙ**



**СВОБОДА  
И ЛЮБОВЬ**

Проза великих

Александра Коллонтай  
**Свобода и любовь (сборник)**

«Алгоритм»

1922, 1957

## **Коллонтай А. М.**

Свобода и любовь (сборник) / А. М. Коллонтай — «Алгоритм», 1922, 1957 — (Проза великих)

Александра Коллонтай – дочь царского генерала, пламенная революционерка и первая женщина-дипломат. Одна из самых легендарных женщин XX века прославилась и как проповедница свободной любви. Свой идеал коммунистической любви, семьи и брака она описывала в романтической прозе. Центральное место в творчестве А. Коллонтай занимает роман «Василиса Малыгина». Небольшая повесть «Большая любовь» продолжает тематику свободной любви. В прозе А. Коллонтай удивительным образом переплетается страстность слога с увлекательным сюжетом. Особый интерес представляет также тот факт, что все действия в произведениях Коллонтай происходят на фоне революционной эпохи.

© Коллонтай А. М., 1922, 1957

© Алгоритм, 1922, 1957

## Содержание

Введение	5
Всё, что полезно «для самой серой работницы»	5
Комсомол и «Эрос революции»	11
Александра Михайловна Коллонтай	19
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# Александра Коллонтай

## Свобода и любовь

### (сборник)

#### Введение

#### Всё, что полезно «для самой серой работницы»

*Балалайка, балалайка,  
Выговаривай слова!  
За хорошую работу  
Ты мне в премию дана.*

*– Ты не очень расходишься! —  
Жена мужу говорит. —  
Трудодни в конце покажут,  
Кто кого будет кормить!*

#### *Советские частушки*

*Для того чтобы изменить любое общество, достаточно изменить сущность Женщины.* Имею в виду ее роль, духовное и моральное предназначение.

Чтобы переворот в Российской Империи был успешным, а плоды революции могли закрепиться, надо было в первую очередь сломать внутреннюю сущность Женщины, сделать ее самкой, животным, безгласным, безвольным, ограниченным, униженным и уничтоженным деградирующим существом. Так что не зря по заданию 1-го Интернационала Чернышевский писал свою, ставшую в СССР хрестоматийной, книгу «Что делать?». Не зря на этом поприще подвизались другие литераторы (некоторые даже неосознанно, главное ведь что: задать тему, запустить в массы, раскрутить, сделать ее модной, – как сказали бы сейчас). После «раскрутки» романа «Что делать?» отдельные члены русского общества стали решать личные и семейные неурядицы в духе героев и героинь этого произведения, попирая принятые нормы морали; к тому же этим и иными трудами литераторов той эпохи словно был дан старт на создание женских трудовых ассоциаций и «коммун».

Литераторы, конечно, сыграли свою негативную роль в перерождении Женщины; однако более активно, более *целенаправленно и жестко долбили нравственные устои общества революционерки.*

Как сложно было поначалу заставить русскую женщину уразуметь, поверить, что она... не свободна. Что она должна изменить СВОЕ место в обществе, стать наравне с мужчиной во всех делах и начинаниях. Что она должна работать наравне с ним, в том числе и физически.

Для того чтобы корректировать планы, скажем так, наступления на психику женщин, разрушения нравственных устоев, большевики не единожды (то за границей, а то даже в России) собирали провокационные съезды, конференции, писали брошюры, переводили книги определенного направления.

К примеру, не успела в Германии в 1911 году выйти книга немецкой еврейки Греты Мейзель-Хесс «Die Sexuelle Krise», как Александра Коллонтай тут же спешно пишет статью

«Любовь и новая мораль» по мотивам этой книжки. Она информирует русского читателя, что Мейзель оказала великую заслугу (!) современному им обществу, посмея «со спокойным бесстрашием крикнуть обществу, что... современная половая мораль – пустая фикция»; пустая фикция, как ее хотели видеть порочные революционерки.

Мейзель, как и Коллонтай, заботило, что *«открытую смену любовных союзов современное общество... готово видеть как величайшее для себя оскорбление»*; что «пробные ночи» обязательно должны стать нормой в обществе будущего, «иметь право гражданства»; что «современная форма легального брака беднит душу»!!! Выход же, по словам А. Коллонтай, *«возможен лишь при условии коренного перевоспитания психики»*, при условии изменения всех социальных основ, на которых держатся моральные представления человечества. Идеал, – «последовательная моногамия», то есть неизбежная смена партнеров!

Вот какие антиморальные, античеловеческие идеалы закладывали в психику русских женщин новые «подруги» и «передовые учителя».

*«Пусть не скоро станут эти женщины явлением обычным,... дорога найдена, вдали заманчиво светлеет широко раскрытая заповедная дверь...»* (См. А. Коллонтай. Любовь и новая мораль. Сб. Философия любви. М., 1990, ч. 2).

Все большевички обязаны были внести свою лепту в дело уничтожения Женщины. Получая при этом задания напрямую: местечковые – от руководителей партячеек, при должностях и доверенные – от главных партийных боссов, ну а те – в свою очередь – от их «работодателей», истинных заказчиков так называемой русской революции. ***В партии большевиков все роли были распределены и каждый отчитывался перед товарищами за проделанную работу: будь то перевод капитальных трудов «великих мыслителей» Маркса, Энгельса или похабная брошюрка о содомии «прогрессивного» направления.***

Не удивительно, что наконец и пламенная Инесса Арманд собралась «просветить» русских женщин в тематике свободной любви. В 1915 году она присылает В. И. Ленину план брошюры, которую собралась написать по этому поводу (правда, незадолго до того обещала своему интимному другу написать кое-что по педагогике, но с педагогикой у нее ничего не получилось). Любовники переписываются и доказывают друг другу, что следует понимать под любовью, страстью, поцелуями без любви, проституцией, под грязным и пошлым браком и так далее. Видимо, не зря Инесса после Октябрьского переворота была назначена заведующей женским отделом при ЦК РКП(б) (но уже после того как не справилась с работой председателя совнархоза Московской губернии).

Отрабатывая свой сытный кусок (это вовсе не метафора), она пописывала лживые статьи и брошюрки, призывая работниц поддержать советскую власть.

Представляясь, конечно же, не Инессой Арманд, – о которой могли узнать, что она вела порочный образ жизни, сходилась-расходилась с мужчинами, рожала от разных мужчин, бросала детей на попечение то бывшего мужа, то товарищей по партии, путалась с Лениным и другими видными большевиками, и тому подобное. Нет, она подписывалась как безвестная Елена Блонина, или Е. Блонина (как циничная насмешка!).

Опус Блониной **«Почему я стала защитницей Советской власти?»** та же Надежда Константиновна Крупская представила как брошюру *«для самой серой работницы»*, – для редчайшего экземпляра: деградировавшего и тупого элемента в юбке. Но таковых были единицы. Кто в 1919 году еще мог поверить даже якобы работнице текстильной фабрики некоей Е. Блониной, что... цитирую:

*«Мы, работницы, работали по 11 часов в сутки, а то еще и сверхурочные (рабочий день в Российской империи был нормированным! Впрочем, что такое соврать для инородки, попавшей в семью русского дворянина и ни дня нигде и никогда не работавшей! Она же лгала тем, кто ей был полностью чужд, кого она и за людей не считала... – авт.).*

Жила я в подвальном этаже. Углы сдавала. Тесно, темно, сыро. (Подобным образом эти лжецы вбивали в сознание то, чего в русском обществе в рабочей среде НИКОГДА не было; но зато будет в достатке у рабочего класса советских изгоев, заселяемых в коммуналки, бараки и общежития, – чтобы подобное «жиле» после рассказанных ужасов про царизм казалось раем земным. – *Авт.*)

Жалованье совсем было маленькое, прожить нечем (ложь, но... вот если про советский и даже сегодняшний постсоветский день, то сущая правда, – *авт.*)... Бывало, и молока ребенку не на что купить. Так мой первенький умер...»

Но вот, – прикидываясь тупой и полуграмотной, пишет Блонина-Арманд, – нашелся на фабрике какой-то рабочий, у которого «оказался красный флаг, и пошли на улицу с демонстрацией. В других фабриках тоже снимали рабочих. Собралось нас очень много. Идем мы прямо к губернаторской площади. Только мы туда дошли, а там полно солдатами. Офицер нам кричит: «Расходись!» Мы идем дальше. Как он крикнет еще раз, солдаты и выстрелили. Убито было тогда несколько работниц. Так, сердечные, и лежали, раскинувшись, в крови. А уж сколько было избитых!»

И вот на такую наглую ложь «покупались» наивные русские люди, неискушенные в коварстве; жалели неких мифических убитых; только пожалеть-то надо было и защищать самих себя... Припомнить бы им, знать бы им, что в результате Французской революции 1793–1794 годов и развязанного революционерами террора погибли более миллиона человек. Но что такое Франция по сравнению с Российской империей, где могут погибнуть значительно больше (а ведь и погибли после 1917 года 60 миллионов только русских, а сколько других бывших подданных империи!). Или припомнить хотя бы недавние факты, после революции 1905 года, – после ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИИ СМЕРТЕЙ террористы из рядов революционеров-психопатов загубили 12 тысяч человек (это по приблизительным, самым скромным подсчетам!). Известно, что на одно из думских заседаний депутаты-монархисты принесли склеенные листы, испещренные именами жертв террора; полоса бумаги, развернутая по всей ширине зала, укоряла присутствующих молчаливым белым укором: что ж вы, люди русские, куда смотрите, кого жалеете; кого прощаете; кого ссылаете в ссылки, словно на курорт с полным содержанием и денежным пособием; кого не можете досмотреть, что они массово бегут за границу из ссылок и тюрем; кому позволяете чуть ли не в открытую привозить из-за границы книги, брошюры, газеты, деньги, оружие и вооружение?!

А чтобы народ НИКОГДА не узнал цену подготовки большевистской революции, после 1917 года среди многих других документов было изъято многотомное издание «Книга русской скорби», где перечислялись высшие сановные особы, могущие не допустить так называемой большевистской революции, останься они в живых, не погибни от рук прошедших подготовку в заграничных лагерях революционеров (как местного, отечественного пошиба, так и наемников из других стран); перечислялись и совершенно случайные люди, попавшие под осколки брошенных бомб, взорванные вместе с частными зданиями и учреждениями, скончавшиеся от случайных ранений...

Это было первое свидетельство холокоста русского народа.

Повторюсь: вот по ком нам, потомкам массово деградированного народа, детям и внукам «советизированных» предков, надо создать Мемориал, вписав имена всех убитых, назвав при всех убийц и их национальную принадлежность. А затем и другие мемориалы: в каждом городе, в каждом местечке, где после 1917 года произошли массовые расстрелы наших соотечественников... Чтобы не повадно было покупаться на чужую ложь...

... даже на ложь, высказанную давным-давно; к примеру, ту, что измышляла в своем «искусном шедевре» «Почему я стала защитницей Советской власти?» агент международного центра подготовки революции И. Арманд: «Да, тяжелая была наша доля... Ну а при Советской

власти всего этого не может быть. Потому теперь наша, рабочая власть. Теперь мы вольные птицы. Сами порядки устанавливаем...»

Не забыла-таки Инесса в своей работе указать и причины, отчего народ при «самой лучшей и справедливой в мире власти» голодает: «Советская власть делает все, что возможно, чтобы в нынешнее трудное время доставить хлеб рабочим. Если хлеба мало, то виновато в этом царское правительство, помещики и капиталисты».

Только не писала Блонина, что хлеба в стране прежде всегда хватало с избытком, и что в Российской империи на знаменитых Нижегородских ярмарках, куда со всего мира съезжались банкиры, купцы и коммерсанты, устанавливались мировые цены на хлеб! Впрочем, какой хлеб?! – если голод был спровоцирован. Ведь сытый не пойдет служить новой власти за рабский паек, сытого тяжелей облапошить, одурачить... Только тот, у кого в руках весь хлеб, получит полноту власти, а весь хлеб можно заполучить, только развязав самый масштабный, невиданный доселе красный террор – открыто признавал «вождь мирового пролетариата» Владимир Ильич Ленин.

В том же 1919 году Арманд стряпает статейку «Маркс и Энгельс по вопросу семьи и брака», где восклицает: *«Одним ударом, сразу мы не в силах были смести все тяжелые пережитки буржуазных семейных отношений... Мы должны, и мы уже начали вводить общественное воспитание детей и уничтожать власть родителей над детьми».*

Эта тема давно была близка неудавшейся мамаше, к тому же кой-какой опыт в деле изменения мышления Женщины имелся у нее еще с начала века. Как известно, в декабре 1908 года в Санкт-Петербурге проходил первый так называемый Всероссийский женский съезд; а отчеты о нем партии дает Инесса Арманд. Докладывает, что по заданию партии в некоторых выступлениях озвучены мысли о необходимости разрушения старого семейного уклада и изменения роли женщины в обществе (!).

Активно *на поприще разрушения женской сущности* работали Клара Цеткин, Роза Люксембург, Вера Засулич, Конкордия Самойлова, Александра Коллонтай, Инесса Арманд, а также Е. Розмирович, Л. Менжинская, Л. Сталь, А. Ульянова-Елизарова, Е. Лилина (наст. Книгисен) и другие партийки, печатавшиеся в большевистской прессе, в том числе в журнале «Работница» (орган ЦК большевистской партии), начавшем выходить в 1914 году. «Журнал сыграл значительную роль в политическом просвещении женщин-работниц, в сплочении их под знаменем партии, в пропаганде ленинских идей социалистической революции», – констатирует БСЭ, т. 21, с. 303; подобное можно сказать обо всех печатных большевистских и советских изданиях.

Пути решения советизации женщин отрабатывались на женских конференциях (в апреле и июне) 1918 года, на Всероссийском съезде работниц и крестьянок осенью того же года (иногда называют совещанием; длился 6 дней), подготовкой к которому активно занималось бюро по созыву съезда при Секретариате ЦК РКП(б), куда входили все те же знакомые бессменные активистки: И. Арманд и А. Коллонтай, а также В. Мойрова, Е. Подчуфарова, а руководил ими Яков (Янкель) Михайлович Свердлов. Куда большевикам без мужского партийного начала? К слову: в советские времена зачастую на «женские» международные конференции и съезды отправлялись делегации женщин из СССР, возглавляемые... мужчинами; абсурд, вызывавший насмешки западных социалисток и демократок.

В 1918 году лживая газета с претенциозным названием «Правда» вышла с заголовком: «Работницы, прислуга, конторщицы, приказчицы, ремесленницы, прачки, жены рабочих – все вы нужны Советской власти»; все – на укрепление и обслуживание новой власти! Но не только... Большевики отводят «советской» женщине еще одну роль: **стать солдатом в деле установления нового Мирового порядка**. Открыто об этом на съезде сказал В. И. Ленин, когда выступил с речью о роли женщины в мировой революции.

Ну а руководить «советскими» будут женщины «избранные»; к примеру, те, что сидели за столом президиума Всероссийского съезда работниц и крестьянок: Арманд, Коллонтай, Сталь, Самойлова, Елизарова-Ульянова, Мойрова, Янсон-Грау и другие. Правда, «известные большевички» понимали, что православные женщины воевать за дело богоборцев не пойдут, оттого *«много места съезд уделил антирелигиозной пропаганде»,* объясняя *«значение пролетарского интернационального братства».*

*«Товарищи, из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит от того, насколько в нем участвуют женщины»,* – размахивая ручонкой, картаво бросал в ряды Владимир Ильич и умилялся своей пламенности. Крупская внимательно следила за реакцией зала. В ответ женщины приняли резолюцию, напечатанную в «Правде» за 21 ноября 1918 года: на зов вождей *«сомкнёмся мощными рядами и уничтожим буржуазию всех стран Да здравствует мировая социалистическая революция».*

Вдохновленная речами «вождя мирового пролетариата», одна из делегаток, *Елизавета Исааковна Коган-Писманик* (представлена на съезде белорусской, 1899 года рождения), писала позже: «съезд... показал, что поднялась великая женская рать». В 1920 году Коган-Писманик ушла комиссаром (уж очень хороший паек был у комиссаров!) в Красную армию. С 1921 года работала заместителем заведующего женотделом Витебского губкома партии; в 1923–1925 гг. возглавляла женотдел ЦК КП(б) Белоруссии. Верная пропагандистка и агитпроповка своей партии. Однако никаких сведений об этой «великой деятельнице компартии» ни в Большой, ни в Белорусской энциклопедиях нет.

Думается, женщины из больших городов и из глубинки, приехавшие на Всероссийский съезд работниц и крестьянок, вели себя культурно. В отличие от мужчин, собравшихся в 1919 году на съезд «деревенской бедноты», проходивший в Санкт-Петербурге (тогдашний Петроград). Сотни приехавших «крестьян» (большинство их, судя по спискам, местечковые евреи из бывших «мест оседлости») разместили в Зимнем дворце Романовых; когда же люди разъехались, «оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших северских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, – уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал», – вспоминал главный идеолог от советской литературы Максим Горький (см. М. Горький. Собрание сочинений. М., 1952, т. 17). Такова была сила ненависти к царской России, к ее культуре, традициям, ценностям, ко всему, что казалось непонятным и недоступным...

Для того чтобы женщина стала борцом (бойцом агитпроповского фронта или планируемым в случае надобности пушечным мясом), ее надо оторвать от привычных обязанностей, или, как говорили большевики, «раскрепостить». А для этого обещались поскорей устроить общественные столовые, прачечные, мастерские для починки и штопки платья, артели для химчистки, и, конечно же, ясли и детские сады.

Всезнающий демагог Горький поучал: «От каторжной жизни спасет женщину только социализм, коллективный труд. Рабоче-крестьянская власть успешно начала перестраивать жизнь на коллективных началах... Дело это трудное: люди веками научены жить по-звериному (а сам Горький, занимаясь непонятно чем с усыновленным им 19-летним племянником Янкеля Свердлова Залманом (наст. Ешуа Золомон Мовшев; 1885–1966), ставшим по документам Зиновием Алексеевичем Пешковым и другими товарищами-большевиками еще на Капри, жил праведно, никак не по-звериному?! – *Авт.*)... Женщинам Союза Советов, особенно крестьянкам, следует весьма серьезно подумать о своем отношении к религии и церкви... И ей особенно хорошо надобно понять, что церковь – древний, неутомимый и жесточайший враг ее» (Там же, т. 25).

О, этот мессианский обвинитель всех и вся, товарищ Максим Горький когда-то, еще в 1907 году высказал упрек таким, как сам, новаторам от русской литературы: «Все это – старые рабы, люди, которые не могут не смешивать свободу с педерастией, например, для них «осво-

бождение человека» странным образом смешивается с перемещением из одной помойной ямы в другую, а порою даже низводится к свободе члена и – только» (см. письма Горького к Леониду Андрееву). А вскоре и сам стал в авангарде пролетарских писателей, выросших их плеяды этих самых «рабов свободного члена» и уже больше не возмущался, когда товарищ Владимир Ильич заходил к нему в номер очередной гостиницы перед сном, чтоб приподнять одеяло и собственноручно проверить, теплые ли простынки у пролетарского буревестника. Подобные факты имели место, и писатель не стесняется это описывать в своих воспоминаниях. Что уж тут ему остается, когда товарищи победили: разве что по укоренившейся привычке поносить то дурака-Николашку с царизмом, то всю старую власть, то церковь, то женщину...

«Отрицательное и враждебное отношение к женщине деятельно и непрерывно внушалось церковью мужчине на протяжении двух десятков веков; оно весьма глубоко проникло в сознание мужчины и приобрело у него силу почти инстинкта», – продолжал стращать он (там же, т. 25). Только за своей бесконечной пропагандистской ложью пролетарский писатель прикрыл свое личностное неприятие женщины. Нападая на христианскую церковь, отобрав у православных женщин их праздник – День жён-мироносиц, большевичка Клара Цеткин ввела обязательный праздник 8 Марта (считается, что в 1917 году он совпадал с иудейским праздником Пурим).

Все это стало возможным после 1917 года, когда исполнялось предсказанное большевичкой А. Коллонтай, что революция укрепитя и восторжествует «лишь при условии коренного перевоспитания психики». Только после переворота и силового захвата власти в Российской империи впервые были созданы условия изменения всех социальных основ, на которых держатся моральные представления всего разумного Человечества.

## Комсомол и «Эрос революции»

*Доверьтесь ему.  
Позвольте я белую шею  
Красной рукой обниму...*

*Юлий Ким. Из «Присыпкина»*

*Золотая, налитая,  
Тонкая иголочка.  
Как я рада, как я рада,  
Что я комсомолочка.*

*Советская частушка*

По всей России вместо кружков (да и наряду с ними) «Долой стыд!», появлялись и множились кружки «Долой невинность!», «Долой брак!», «Долой семью!». На заре своего появления многие комсомольские ячейки видели свою основную задачу не в подготовке кадров для строительства светлого будущего (такой задачи партия еще не поставила перед молодыми), а в раскрепощении молодежи, развале старого мещанского быта и уничтожении православных оков нравственности времён «проклятого царизма».

Младокомсомольцы вместо того, чтобы заняться пропагандой коммунизма, с животной радостью спешили пропагандировать свободную любовь. Причем не иначе, как на собственных примерах. Юными пролетариями, готовыми отвергнуть стыд как классовый предрассудок, таинство отношений между мужчиной и женщиной отвергается; романтика и девственность – «страшное наследие темного мира», «царства эксплуатации человека человеком». Оттого отношения полов рассматривались ныне лишь в контексте революционной целесообразности. «Дно» общества, описанное самым страстным и самым наглым агитатором революции Максимом Горьким, вылезло наружу, обуянное горячечным беспределом и кровавыми оргиями. Жители городских трущоб, человеческий сброд, лишенный всякой морали, уголовные элементы, преступники всех мастей, – стали гегемоном революции. Получив из рук красных паханов, управлявших страной, власть среднего и низшего звена, это «дно» строило «новую» жизнь по невиданным доселе понятиям. Самое тонкое чувство, на которое только способно «дно» – пошлая эротика, самая страстная любовь – грубый инстинкт спаривания. Но они лишь повторяли то, что стало нормой в клане красных правителей. А правители и их карательные органы жили по принципу свободной любви, не заботясь о том, чтобы это скрывать от народа. Но среди системы ценностей большинства населения бывшей Российской империи половая распущенность никогда не была в почете; новая революционная мораль скорее даже вызывала отвращение. И тогда были запущены другие способы развращения народа. В дело вступил комсомол – «кузница коммунистических кадров».

Вскоре в большевистской России сексуальные преступления стали нормой поведения в среде рабочей молодежи; молодые пролетарии цинично демонстрировали отрицание всякой морали через надругательство и насилие над другими членами общества и, в особенности, девушками и женщинами. Растущая агрессивность самцов поддерживалась секретарями комсомола, рьяно проповедующих полную свободу в отношениях полов.

К примеру, в Киеве один из комсомольских секретарей укома на частых собраниях убеждал молодежь в «революционности свободной любви». То же происходило по всем городам

и весям страны, докатываясь до дальних деревень, и уже не только на городских площадях и станционных вокзалах, но и на деревенских сходках выступали заезжие молодые ораторы, пропагандируя прелести новой жизни и свободы половых отношений. Уже бродили в обществе слухи о «национализации» всех женщин в пользу передового пролетариата, идейного носителя идей коммунизма.

Ничего удивительного, что изнасилование в 20-30-е годы XX века стало нормой поведения членов советского государства. К примеру, в 1926 году только лишь Московским судом было рассмотрено 547 случаев изнасилования; в 1927 г. – 726;

в 1928 г. – 849. В других судах больших городов та же тенденция. У процесса изнасилования в среде советской молодежи даже появилось свое наименование: «чубаровщина». Возникло оно по названию Чубаровского переулка на Лиговке в Ленинграде, где летом 1926-го приехавшую работать на завод 20-летнюю крестьянку Любу Белякову насильовала целая банда молодых представителей рабочего класса, – 26 комсомольцев, кандидатов в члены ВКП(б) и коммунистов. (Уже в наше время, в 2006 г. об этом случае упоминала газета «АиФ», увеличив число насильников до 40 (!) человек).

Состоялся суд, в ходе которого установили, что обвиняемые и свидетели разделяют общественное мнение, озвученное рупором комсомола «Комсомольской правдой»: *«Женщина – не человек, а всего лишь самка. Каждая женщина – девка, с которой можно обходиться, как вздумается. Ее жизнь стоит не больше, чем она получает за половое сношение»* (18 декабря 1926 г.). *«Самым скверным является то обстоятельство, – отмечает далее газета, – что этот ужасный случай не представляет собой в нашей жизни никакого особого преступления, ничего исключительного, он – всего лишь обычное, постоянно повторяющееся происшествие».*

Ничего необычного в зверском насилии, совершаемом на глазах прохожих, не увидел комсомолец, случайно ставший очевидцем преступления. Во время дачи показаний на суде он... не мог понять вопроса прокурора, почему же он никого не позвал на помощь. Один из шайки насильников и вовсе утверждал, что изнасилования как такового и не было, разве что акт совершался без согласия женщины...

– Женщина – не человек, – твердили на суде обвиняемые, – все комсомольцы настроены точно так же и живут таким же образом, как мы.

«Чубаровское» дело получило такой широкий общественный резонанс, что грозило срывом планов индустриализации страны; поэтому вместо обычных 5 лет, которых давали за подобные «игры», шестеро из насильников были приговорены к расстрелу, остальные получили длительные сроки отсидки.

На страницы советской печати попало и другое преступление, не менее чудовищное. И эти зверские преступления заставляли власти искать пути решения ею же порожденной проблемы. В 1927 году в Ленинграде на пляже у Петропавловской крепости тринадцать учащихся ФЗУ при Балтийском заводе после споров о сроках торжества коммунизма во всем мире зверски изнасиловали трех девушек. Суд по данному делу стал показательным; да и то только потому, что одна бедняжка скончалась от телесных повреждений, а у другой потерпевшей отец оказался видным партийным деятелем.

В ходе следствия выяснилось, что один из преступников Федор Соловцов – комсомольский активист, уже давно славился сексуальными победами. Низкорослый парень с изъеденным оспой лицом имел восемь постоянных интимных партнерш в своей комсомольской ячейке, принуждая их к сожительству. Если девушки отказывались содействовать «внедрению революционной пролетарской морали», он тут же находил рычаги воздействия: то обещал исключить из комсомола, то угрожал лишением места в общежитии, то собирался распространить гнусную молву о ее непролетарском происхождении и т. п. И, между прочим,

исполнял свои обещания. Ну а в некоторых случаях комсомольский активист просто дарил объекту похоти пару дефицитнейших фильдеперсовых чулок.

Подобное стало нормой поведения в советском обществе; комсомольские и партийные вожди всегда видели в женщинах лишь сексуальный объект. Так было до конца XX века; и в сегодняшнем постсоветском обществе изувеченное внутреннее «я» Женщины не может оправиться от увечья, нанесенного ей коммунистической моралью. Общество, где человеческие нормы поведения и мораль подменяются лозунгами, обречено на длительное разложение. Советский Союз ждала участь трупa, разлагающегося, разлезающего на части.

На суде над молодыми насильниками, проходившем в Ленинграде, было озвучено, что в комсомольской ячейке ФЗУ открыто существовало «бюро свободной любви». И часто мероприятия революционной молодежи заканчивались разнузданными оргиями, когда парочки совокуплялись на глазах друг у друга. А в тот момент на пляже, – объяснили насильники, – они «страдали от нетерпеливости». Рассвирепели же и били гражданок за то, что те проявили «буржуазную несознательность», отказав им по-хорошему. Комсомольцы насиловали жертвы в извращенной форме, совершая групповые половые акты прямо на пляже. Оргия продолжалась несколько часов. Совершив насилие, они жестоко избивали жертвы. У одной из потерпевших оказались поврежденными внутренние органы. На крики несчастных наконец прибежал наряд милиции. Солонцов уверенно заявил прибывшим:

– Они не захотели добровольно доставить сексуальное наслаждение комсомольцам! Это их надо арестовывать, а не нас!

Вину подсудимые так и не признали; комсомольский вожак на суде не раз подчеркивал, что видит в своих действиях «здоровую сексуальную революционную мораль». Но так как суд по делу об изнасиловании был превращен в показательный процесс, преступников сурово наказали: Соловцова расстреляли, его подельников посадили на длительные сроки заключения.

Характерным для того времени явился резонанс, вызванный этим делом. Тогда как многие в партийные органы и газеты писали гневные письма, требуя смертной казни для насильников, другие – наоборот, поддерживали преступников, примеряя их опыт на себя. Анонимный автор, обращаясь в редакцию газета «Правда», писал: *«Как же нам удовлетворять естественные надобности? Девушки должны были пойти навстречу просьбе товарищей-комсомольцев и снять с них сексуальное напряжение, чтобы они, вдохновленные и довольные, смело шли к новым трудовым победам! Эрос революции должен помогать молодежи строить светлое коммунистическое завтра!»* Подобное понимание роли женщины в «новом советском обществе» было навязано большинству молодых людей; в среде молодых рабочих разврат и насилие на долгие годы стали нормой поведения. *«Студенты косо смотрят на тех комсомолок, которые отказываются вступить с ними в половые сношения. Они считают их мелкобуржуазными ретроградками, которые не могут освободиться от устаревших предрас судков. У студентов господствует представление, что не только к воздержанию, но и к материнству надо относиться как к буржуазной идеологии»*, – это цитата из письма студентки, опубликованном в «Правде» (7 мая 1925 г.).

«Эрос революции» тогда широко воспевался в обществе революционными поэтами-бунтарями, такими как В. Маяковский и иже с ним. Новые пролетарские писатели и деятели пролетарского искусства вели дискуссии о *теории «крылатого» и «бескрылого» Эроса*. А идейным вдохновителем этой заразы «раскрепощения» стала профессиональная большевичка Александра Коллонтай, выступившая в 1923 году со статьей «Дорогу крылатому Эросу!» Полная раскрепощенность нравов вызвала брожение не только в головах, но и в штанах, что привело к возникновению разных течений и теорий, посвященных семейно-половому вопросам. Самой заметной и стала «теория Эроса», имевшая как бы два направления. И хотя между направлениями существовали отличия, однако главная задача «эротистов» заключалась в том, чтоб уверить общество, что *в целях достижения полной свободы и скорейшей победы комму-*

низма необходимо избавиться от всех условностей старого мира: любви, семьи, дома. Для этого следовало полностью обнажить человеческое тело в живописи, на сцене и в кино. «Стыдливость, – это искажение всего нормального и здорового, с ней надо вести борьбу»; «любви нет, а есть лишь «голое размножение», физиологическое явление природы», – таковы основные принципы «эротистов». Советская литература с новым вдохновением, соответствующим времени, создавала образ женщины, приветствующей измены своего партнера (мужа), и которая сама была обязана удовлетворять сексуальный инстинкт мужчины (комсомольца и коммуниста).

Во время начавшихся в середине 20-х годов судебных дел по случаям изнасилования выяснилось множество нелицеприятных фактов. Оказывается, в среде комсомольской молодежи приобрели популярность так называемые «вечёрки», на которых молодые люди «пробовали» девушек. Подобные мероприятия обычно проводились в помещении комитета комсомола, – фабричного ли, заводского и т. д. – куда молодежь была обязана приходить на учебу о классовой борьбе, гегемонии пролетариата, для ознакомления с трудами Маркса, Энгельса, Ленина. После чего комсомольский лидер предоставлял парням право выбирать партнершу среди пришедших на собрание комсомолок. Все знали, что секретарь комсомольской ячейки мог, при желании, покуситься сразу на нескольких понравившихся девушек. «Пробы» проходили то по очереди, то массово, без всякого стеснения перед товарищами. Вместе с тем выявились случаи самоубийства среди комсомолок, однако обвинить в этом комсомольских работников и членов комячеек не смогли (не захотели).

Особое любопытство представляет труд Ивана Солоневича «Тяжкий вопрос о науке»; в котором известный русский публицист, ставший эмигрантом, описывает события тех лет, исходя из своего личного журналистского опыта. Иван Солоневич (1891-1953) является автором книг «Россия в концлагере», «Народная Монархия», «Диктатура импотентов», «Диктатура слоя»; а его статьи можно легко найти в интернете. Однако обратимся к свидетельству Ивана Лукьяновича.

«Осенью, кажется, 1932 года я в качестве репортера попал на Сормовский завод – старый гигант индустрии около Нижнего Новгорода. Репортерское ремесло в СССР – унылое и стандартизированное ремесло. Человек обязан писать о том, что приказано. А если того, чему приказано быть, в природе не существует, обязан выдумать. То, что существует в реальности, никакую редакцию не интересует и интересоваться не имеет права. Жизнь обязана укладываться в схему генеральной линии. /Я с блокнотом и фотоаппаратом скучно бродил по гигантской территории Сормовского завода, пока в его парадных воротах не наткнулся на целую серию «черных досок» – «досок позора», на которые наносят имена всякого отдельного элемента веселой социалистической стройки. Не «преступного», а только «отсталого» – для преступного есть и другие места. На досках красовалось около ста имен. На доски я взглянул только случайно: кому интересны имена опоздавших на работу, не выполнивших нормы, удравших от общественной нагрузки? Но случайный взгляд обнаружил целое «общественное явление»... /Почти в одной и той же редакции, одна за другой, шли записи такого содержания: «Комсомолец Иван Иванов женился, старается возможно больше заработать, бросил общественную работу, исключен из комсомола как мещанский элемент». /Иногда редакция записи говорила чуть-чуть иначе: «Комсомолец Иванов "повышает квалификацию" но для заработка, а не для социализма». /Словом – на досках было около сотни комсомольцев, из-за женитьбы ушедших из комсомола. /Я направился в комсомольский комитет: в чем тут дело? В комсомольском комитете мне ответили раздраженно и туманно: черт их знает, что с ребятами делается: у попа женятся, **пойдите в женотдел**, это по ихнему ведомству, женотдел прямо на стенку лезет... /Я пошел в женотдел... Меня как «представителя московской прессы» обступила дюжина комсомольских и партийных активисток. Часть из них относилась к типу партийной самки, который был увековечен соответствующим скульптурным произведе-

дением во Дворце труда. *Другую я отнес к числу заблудших душ* – не вполне невинных жертв социалистического общественного темперамента. Всем им хотелось излить свои наболевшие души. Они и излили: одни жалобно, другие озлобленно. Фактическую сторону дела обе части рисовали, впрочем, одинаково. /Фактическая сторона дела заключалась в том, что заводская молодежь ни с того ни с сего вдруг начала жениться. Это бы еще полбеда. **Настоящая беда заключалась в том, что на комсомолках жениться не хотел никто.** Им-де, ребятам, нужны жены, а не «орательницы» – в русском языке есть глагол «орать», имеющий случайно лингвистическое родство с термином «оратор». **Им нужны хозяйки дома, а не партийные шлюхи – последнее существительное в разных редакциях передавалось по-разному.** Они, ребята, вообще хотят иметь семью. Как у людей. Без развода и всяких таких вещей. И поэтому женятся не в ЗАГСе (отдел записи актов гражданского состояния), а у попа: так все-таки вернее. Потом они хотят побольше заработать, учатся, посещают курсы, «повышают квалификацию», но на собрания не ходят, и социалистическая стройка их не интересует никак. / В соответствии с советской идеологией, фразеологией и прочими вещами женские души из сормовского женотдела выражались витиевато и казенно. Слушатель, не убежденный достаточным советским опытом, мог бы и в самом деле предположить, что интересы социалистической стройки стоят у женотдела на самом первом месте. Но, во-первых, партийный комитет никакой угрозы интересам этой стройки не отметил и, во-вторых, сквозь казенные ламентации о планах, собраниях, мещанстве и прочем нет-нет да и прорывались свои собственные, неказенные слова. «А нашим-то девкам – куда деваться, вот так век в комсомолках и ходить?» «Они сволочи, от комсомолок носы воротят, словно мы какие зачумленные». «Им такую подавай, чтобы борщ умела варить, а что она политически безграмотна, так им что?» «В мещанство ударились; чтоб его жену никто и тиснуть не смел»... / Несколько позже председательница женотдела, тип застарелой орлеанской девственницы, говорила мне полуконфиденциальным тоном: «Комсомолки наши ревмя ревут, почитай, ни одна замуж не вышла, конечно, несознательность, а все-таки обидно им... Эти сто, что на черных досках, – это только показательные, только для примеру, у нас весь молодняк такой же. Совсем по старому режиму пошли. Попа мы арестовали – не помогает: в Нижний жениться ездют. Вы об этом, товарищ Солоневич, уж обязательно напишите...» / Я обещал «написать» – писать обо всем этом нельзя было, конечно, ни слова. На своих спортивных площадках я поговорил с ребятами. Ребята усмехались и зубоскалили: просчитались наши орательницы, кому они нужны! «Я, товарищ Солоневич, скажу вам прямо: **я на бабе женюсь, а не на партии...** Вот тут один наш дурак на комсомолке женился: дома грязь, пуговицу пришить некому, жену щупают кому не лень, ежели дети пойдут, так это еще не сказано, чьи они». Словом, разговоры носили ярко выраженный мелкобуржуазный характер. *И я понял: социалистическая игра в России проиграна.* / В семейном вопросе коммунизм сдал свои позиции первым: с вот такими комсомольцами справиться было нельзя. Да и солдаты были нужны: без семьи – какие солдаты. Так, несколько позже, коммунизм отступил и на церковном фронте: отступил гибко и умно, не отдавая своих основных позиций и используя религию для вооруженной защиты безбожия. Но прорыв на семейном фронте был первым решающим прорывом: комсомолец попер жениться, комсомолец стал строить семью – и тут уж все остальное, быстро или медленно – это другой вопрос, пойдет истинно старорежимными путями: семья, забота, собственность – словом, «старый режим»...».

Но до начала 30-х годов, до времени, когда члены комсомола, досыта натешившись с доступными комсомолками, решили брать в жены обычных девчат, прошло не десятилетие, а – целая эпоха циничного разврата. Закрепленного, между прочим, в первом Уставе этой организации!

Как известно, 29 октября 1918 года в Москве прошёл первый съезд так называемых союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором было принято решение о создании *Российского Коммунистического Союза Молодёжи (РКСМ)*.

Официальная история последующих лет деятельности комсомола выглядит так:

– В июле 1924 РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина, РКСМ стал Российским Ленинским коммунистическим союзом молодёжи (РЛКСМ). В связи с образованием Союза ССР в 1922 г. комсомол в марте 1926 был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

– Согласно Уставу ВЛКСМ в комсомол принимаются юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. В 1918 г. в членах этой организации числились 22.000 человек; в 1920-400.000; в 1933-4,5 млн человек; в 1941-10.400.000 человек; в 1971 – свыше 28 млн молодых людей всех наций и народностей СССР. За 50 лет в комсомоле прошли политическую школу более 100 млн советских людей.

– Главной задачей ВЛКСМ является помогать партии воспитывать юношей и девушек:

1) *на великих идеях марксизма-ленинизма* (понимай правильно: марксизм-ленинизм осуществился на деле через обучение революционеров и деклассированных элементов, международных отщепенцев и преступников из разных стран в единых международных школах и центрах терроризма на деньги заинтересованных структур, чтобы затем вооруженным путем изменить существующий политический строй сначала в одной из европейских стран; главной целью марксистов-ленинистов была Российская империя, как самое богатое и могущественное государство);

2) *на героических традициях революционной борьбы* (понимай правильно: эти традиции зиждутся на развязывании гражданской войны и массовых убийствах; за время революции, Гражданской войны и до конца 30-х годов XX в. погибли более 60 млн только русского населения бывшей Российской империи);

3) *на примерах самоотверженного труда рабочих, колхозников, интеллигенции* (понимай правильно: самоотверженным может быть труд только у тех, кто поставлен в нечеловеческие рамки существования, кто находится в колхозах и совхозах, работает за трудовни и, не имея паспорта, не может изменить условия труда и жизни; кто в массовом порядке отправлен «на исправительные работы» в советские ГУЛАГи; кто вынужден выдавать «на гора» во имя спасения положения на бездарно проигранных советскими полководцами полях сражений во время Второй мировой...);

4) *вырабатывать и укреплять у молодёжи классовый подход ко всем явлениям общественной жизни, готовить стойких, высокообразованных, любящих труд строителей коммунизма* (понимай правильно: классовый подход – это искаженное понимание событий во всех областях человеческой жизни, подаваемое через призму *ненависти* к «мировой оплётке империализма», к мифическим эксплуататорам и буржуям; что касается «высокообразованных», то советская система обучения по всем (!) параметрам проигрывала разносторонней системе образования, как начального, так и высшего, времён царской России).

Рассказывая о своих славных подвигах и повседневных делах, комсомольские и партийные вожаки навсегда забыли о том, как на самом деле вовлекалась молодежь в свои ряды борцов за светлое будущее. В то время, когда в редких комсомольских рядах насчитывалось не более 20.000 человек на необъятную страну, был принят 1-й Устав РКСМ, где имелся пункт следующего содержания: **«Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию, если он регулярно платит членские взносы и занимается общественной работой»**. Положение действовало до 1929 года, когда была принята вторая редакция этого Устава. Параграф о соитии изъяли. За это время ряды членов изрядно укрепились, ведомые в светлое завтра их идейными вожаками, преданными сыновьями коммунистической партии. Первыми руководителями – председателями, генеральными секретарями Центрального Комитета комсомола в те годы были: с ноября 1918 по октябрь 1919 – коммунист и деятель Коминтерна Оскар Львович Рыбкин (1899–1937); с 1919 по апрель 1922 – коммунист Лазарь Абрамович Шацкий (1902–1937); с 1922 по июль 1924 – коммунист и бывший

революционный комиссар Петр Иванович Смородин (1897–1939); с 1924 по май 1928 – коммунист Николай Павлович Чаплин (1902–1938); с 1928 и по апрель 1929 – коммунист, сотрудник Коминтерна Александр Иванович Мильчаков (1903–1973). Последнего на ответственном посту сменит коммунист Александр Васильевич Косарев (1903–1939), прошедший героические традиции революционной борьбы на фронтах Гражданской войны, научившись с 15-и лет хладнокровно убивать своих соотечественников в единичных и массовых расстрелах. Комментарии, как говорят, излишни.

Итак, на заре становления «активный помощник и резерв Коммунистической партии» – комсомол – вписал самую черную страницу в свою славную биографию.

Сразу же после создания РКСМ, для знакомства с новой организацией в столицу были посланы инициаторы с мест. По их возвращении во всех школах, на заводах и фабриках городов проходят митинги по созданию комсомольских ячеек. Губкомы, проводя в жизнь политику новой организации, всю выдавали постановления о том, что каждый комсомолец или рабфаковец имеет право реализовать свое половое влечение, а комсомолка или рабфаковка должна его удовлетворить по первому же требованию, – в противном случае она лишалась звания комсомолки и пролетарской студентки.

Но в адрес комсомольских вожakov стали поступать жалобы от сексуально озабоченных товарищей, которым девочки-комсомолки не пожелали отдаться. Нарушительниц правил комсомольской этики и новой коммунистической морали осуждали и карали на шумных комсомольских собраниях. Однако многие комсомолки приводили в ответ слова большевички Александры Коллонтай: *«Женщина теперь сама сможет выбирать себе мужчину»*, и парировали, что если мужчины будут принуждать их к соитию, то они выйдут их комсомола. Однако смелых, готовых дать отпор было не так уж и много.

*«Нынешняя мораль нашей молодежи в кратком изложении состоит в следующем, – подводила итог (между прочим, и своего личного весомого вклада в дело морального и психофизиологического разложения русского общества) известная коммунистка Смидович в газете «Правда» (21 марта 1925 г.) – 1. Каждый, даже несовершеннолетний, комсомолец и каждый студент «рабфака» (рабочий факультет) имеет право и обязан удовлетворять свои сексуальные потребности. Это понятие сделалось аксиомой, и воздержание рассматривают как ограниченность, свойственную буржуазному мышлению. 2. Если мужчина возделает к юной девушке, будь она студенткой, работницей или даже девушкой школьного возраста, то девушка обязана подчиниться этому возделению, иначе ее сочтут буржуазной дочкой, недостойной называться истинной коммунисткой...»*

В результате, когда все без исключения комсомолки и коммунисты были уверены, что у них есть права на удовлетворение мужской физиологической потребности, в Стране Советов назрела новая проблема: что делать с детьми, рожденными от свального блуда свободной любви. Дети крылатого Эроса, которых матери не могли прокормить, пополняли детские дома, становились беспризорниками. Зачатые в жутких условиях, – не в процессе любви, а в процессе бездушия и насилия, – никогда не знавшие материнского тепла, они росли и вливались в ряды преступного мира.

«Брачный бойкот комсомолок, а также и комсомольских форм сексуальной жизни был, конечно, симптомом огромного национального значения. Может быть – самым решающим симптомом существования нации. Здоровый, нормальный, общечеловеческий инстинкт с отвращением отбросил всё сексуальное экспериментаторство и вернулся к традиции», – подметил публицист И. Солоневич. Но то, что по сердцу человеку нормальному, было как кость в горле большевику. *«Опять Россия стала буржуазной, снова в ней культ семьи»*, – гневно возмущался Троцкий в 30-е годы, осознавая, что даже давнее убийство царской семьи становилось отчасти бессмысленным, потому как конечная цель в деле уничтожения семьи, как ячейки общества, не достигнута. Ведь на семье держится все – и нравственность, и государство. А

убийство семьи помазанников подорвало все устои общества, вызвало чудовищный обвал всех ценностей, вольно попираемых каждым, кто объявлял себя партийцем. Но на это и был расчет. Это за трагедией русских помазанников в обществе последовали «Долой стыд!», «Долой невинность!», «Долой брак!» и: «каждая должна отдаться каждому...».

Утешает только то, что наше поколение появилось на свет уже *после* экспериментаторства. *Но сколько из поколения наших бабушек и дедушек рождены в этом чудовищном эксперименте, в этом публичном доме революции, и – кто из этих выродков стали нашими с вами близкими родственниками?!*

*Ольга Грейгъ*

## Александра Михайловна Коллонтай Василиса Малыгина

### *Любовный роман, 1922 год*

Василиса – работница, вязальщица. Ей двадцать восьмой год. Худенькая, худосочная, бледная, типичное «дитя города». Волосы после тифа обстрижены и вьются; издали похожа на мальчика, плоскогрудая, в косоворотке и потертом кожаном кушачке. Некрасивая. Только глаза хорошие: карие, ласковые, внимательные. Думающие глаза. Поглядишь в них, и теплее на сердце станет. С такими глазами мимо чужого горя не пройдешь.

Коммунистка. Большевичкой стала с тех пор, как война грянула. Возненавидела войну с первого дня. В мастерской сборы на фронт делают, готовы сверхурочные часы работать для победы России. А Василиса спорит, не соглашается ни с кем. Война кровавое дело. Кому она нужна? Народу от войны одна тягота. Да и солдат жалко, такие молодые... Будто баранов на убой гонят. Когда на улице встречала партию, что в боевом снаряжении на войну шла, Василиса отворачивалась. На смерть, а они горланят, поют!.. Да еще как бойко идут-то, будто на праздник!

Что их заставляет идти? Отказались бы. Не пойдем, мол, умирать да таких же людей, как мы сами, убивать... Тогда и войны бы не было.

Василиса хорошо грамотная была, у отца, наборщика, воспитывалась. Толстого читала и любила его книжечки.

Одна против всех в мастерской «за мир» стояла. Рассчитали бы, да рабочие руки нужны. Мастер косился, а расчета не давал. О ней, о Василисе, на весь квартал слава пошла: против войны стоит. «Толстовка», говорили. Бабы с ней разговаривать перестали: Родины знать не хочет, Россию не почитает. Пропащая!

Дошел слух о ней и до районного организатора, большевика. Познакомился с Василисой. То да се, понял, что «девка – стойкая, знает, чего хочет, такая партии годится». Притянули к организации. Василиса не сразу большевичкой стала. И с комитетчиками спорила. Вопросы задавала. Уходила сердитая. Потом, разобравшись, сама предложила: «Буду с вами работать». И стала она большевичкой.

В революцию уже других организовывала, в совет попала. Нравились ей большевики, и Ленина уважала за то, что против войны напропалую идет.

С меньшевиками и эсерами ловко спорила. Горячая Василиса, напористая, за словом в карман не полезет. Другие женщины-работницы стесняются, а Василиса, когда надо, не задумываясь, слово берет. И всегда «дельно скажет».

Товарищи ее уважали. При Керенском на выборах в Городскую думу кандидаткой выставили. Вязальщицы в мастерской гордятся. Что Василиса ни скажет, то теперь закон. С бабами Василиса ладить умела. Где ладком, где и окриком. Нужды-то все их знала, сама с малолетства на фабрике. И за баб заступалась. Порою товарищи стыдили: «Бросили бы вы своих баб, до них ли сейчас?... Дела поважнее есть!»

Вскипит Василиса, наскочит на товарищей, с секретарем района сцепится, а на своем настоит. Чем «бабы дела» мельче других? Привыкли все так смотреть, оттого и выходит «отсталость женщин». А без них революции не сделаешь. Баба всё. Что она про себя думает да мужу бубнит, то муж и в жизнь проводит. «Баб завоевать – полдела сделать».

Боевая была Василиса в восемнадцатом году! Знала, чего хочет. Да такая и осталась. Другие за последние годы попустились, поотстали, по домам поосели. А Василиса все на работе, все «воюет», все что-то «организовывает», добивается, спорит.

Неугомонная Василиса. И откуда силы берет? Щупленькая, ни кровинки в лице. Одни глаза. Ласковые, внимательные, умные.

Кто поглядит в эти глаза, не скоро их забудет.

Письмо принесли Василисе, долгожданное, желанное письмо. От любимого, от мужа-товарища. Месяцами в разлуке. Ничего не поделаешь!.. Гражданская война, а теперь «хозяйственный фронт». Партия всех своих членов мобилизует. Революция не игрушка, от всех своей жертвы требует. Вот и несет она, Василиса, свою жертву революции все без милого, одна живет, все в разлуке с ним. По разным концам России раскиданы... Подруги говорят: «Так оно и лучше, дольше любить будет, не надоешь!» Может, и правы. А только тоскливо без него, так тоскливо бывает, что и слов не найдешь... Правда, времени свободного мало у Василисы, дело за дело цепляется, с утра до поздней ночи на партийной и советской работе. Важной, нужной, интересной. Но как придешь в свою каморку (Василиса ее «светлицей» прозвала, по-деревенскому), так тоска по милому будто холодным дуновением сердце остудит... Сядет Василиса за чай, задумается. И покажется ей, будто никому-то она не нужна. Будто нет у ней товарищей; с кем весь день работала, нет и цели, для чего трудилась, изматывала силы. Надо ли все это? Кому надо? Людям? Разве они ценят? Вот опять дело испортили, переругались, друг на друга жалобы подали... Каждый себе тянет. Не хотят понять, что для коллектива жить следует. Не умеют.

И ее разобидели, нагрубили, попрекнули пайком «ответственного работника»... Пропади он совсем, не нужен ей!.. Товарищи уговорили, потому сил у ней мало стало, головокружение. Сидит, облокотившись о стол, пьет свой чай с леденцом вприкуску, а сама все обиды за день вспоминает. И кажется ей, нет ничего светлого, хорошего в революции. Одни незадачи да склоки, да борьба.

Хоть бы «милой» тут был, поговорила бы, душу отвела... А он бы приласкал, приголубил.

Ну чего, Вася, пригорюнилась?... Такой на людях буян, никого, мол, не боюсь, со всеми в драку лезет, спуску никому не дает, а теперь нате: сидит, нахохлившись, будто воробей под крышей!..

Подхватит на руки (он сильный) да, как ребенка, начнет по комнате носить да убаюкивать. Смеются оба!.. А на сердце от радости даже больно станет... Любит Василиса своего милого, своего мужа-товарища. Красавец он, ласковый, и так ее любит!.. Так любит!..

Вспомнит Василиса милого и еще тоскливее станет. Пусто так в светелке. Одиноко. Вздохнет. Чай приборет и сама себя упрекает: чего еще захотела? Чтобы все тебе радости жизнь припасла? И работа по душе, и уважение товарищей, да еще и любимого иметь под боком на придачу?! Не жирно ли будет, Василиса Дементьевна? Революция не праздник. Каждый свою жертву нести должен. «Все для коллектива... Все для победы революции».

Так думала Василиса зимою. А теперь пришла весна. Солнышко весело так светит, и воробьи под крышей щебечут... Смотрит на них по утрам Василиса, улыбается. Вспомнит, как милый ее «нахохленным воробьем» звал. Весна к жизни зовет. И работать все труднее становится. Малокровие развилось у Василисы, легкие пошаливают. А тут целая «панама» случилась. Организовала Василиса дом-коммуну. Это помимо общепартийных и советских дел; то одно, а дом-коммуна другое, самое разлюбимое. Мысль такая давно засела в голове Василисы, образцовый дом наладить. Чтобы и дух в нем был коммунистический, не просто общежитие, где все сами по себе, все врозь. Никому дела нет до другого... Да еще и пререкания, ссоры, недовольства. Никто для коллектива работать не хочет, а все только требуют. Нет, Василиса другое задумала. Терпеливо, исподволь налаживала дом. Сколько мытарства выдержала! Два раза дом отнимали. С кем только не тягалась Василиса!.. Отстояла. Наладила. Общая кухня.

Прачечная. Ясли. Столовая гордость Василисы: занавесы на окнах, герань в горшках. Библиотека вроде комнаты клуба. Вначале все чудесно было. Женщины, жилички, при встречах замуливали Василису поцелуями: «Золото ты наше! Заступница наша!.. Уж так облегчила ты нас, и слов не найдем!»

А потом пошло... Насчет расписаний спорить стали. Чистоту соблюдать не приучишь... В кухне споры из-за кастрюлек. Прачечную затопили водой, еле откачали. Как неудача, ссора, беспорядок сейчас на Василису недовольство. Будто она здесь хозяйка, будто она недоглядела. Пришлось к штрафам прибегнуть. Обозлились, разобиделись жильцы. Были такие, что съехали.

Дальше – больше. Ссоры, нелады. А тут еще завелась пара такая, супругов-склочников, Федосеевы, все не по ним! Зудят, зудят, сами не знают, чего хотят, а всё не так. И других настраивают. Главное, они первые в дом въехали, вроде тоже как хозяева. Но чего хотят? Чем недовольны? Не понять!.. А Василисе жизнь отравляют, что ни день неприятности.

Устала Василиса. Досадно до слез. Видит, дело разваливаться начинает. А тут новое постановление: всё за наличные – и вода, и электричество. И налоги плати, и повинности неси. Василиса туда, сюда. Ничего не выходит!.. «Новый курс» без дензнаков никуда и не суйся!..

Билась, билась Василиса, хоть бросай любимое дело. Но не таковская она. За что взялась, то из рук не упустит.

Поехала в Москву. День за днем стучалась в разные учреждения, до самых «верхов» добралась! Отстояла дом-коммуну, доклады и отчеты уж очень понравились. Даже субсидию на ремонт получила. А дальше на «хозяйский расчет» перейти придется.

Сияющая вернулась Василиса к себе. А супруги Федосеевы, склочники, с кислым видом встретили. Нахмурились. Злыми глазами на Василису смотрят, будто она им зло какое сделала, что дом-коммуна отстояла.

И начали травлю с другой стороны. Пустили клевету, будто Василиса нечисто книги домовые ведет. Доходец свой имеет. Что пережить пришлось!.. Вспомнить жутко!

Вот когда без милого туго пришлось, вот когда близкий человек, товарищ нужен был ей, Василисе... Вызывала его, писала. Не мог приехать. Дела важные. Назначение получил новое, ответственное. Наладить, возродить торговые дела той самой фирмы, где раньше он «мелкой сошкой», приказчиком служил. Всю зиму бился, трудное дело. Оторваться нельзя. На нем держится.

И пришлось Василисе на своих худеньких плечах одной всю травлю вынести, всю людскую несправедливость до дна испытать. Самое болезненное, обидное от кого несправедливость-то шла? От своих же, от сотоварищей, от рабочих!.. Кабы «буржуи»!.. Спасибо комитету, подержал. Дело до суда довести не дал, сами разобрались. Ясное дело же, что клевета! Все от злобности да от темноты.

Потом, как выселять стали супругов Федосеевых, оба винулись, прощения просили у Василисы, уверяли, что всегда ее «почитали»... Не обрадовалась Василиса победе. Измоталась, замучилась, сил на радость и не хватило... Расхворалась. Потом опять за дело взялась. Но будто что-то в душе погасло. И уже не любит Василиса дома-коммуны больно настрадалась она из-за него. Будто люди опоганили ей любимое детище... Как в детстве, бывало, братишка Колька покажет ей леденец, а как она за ним потянется, Колька лукаво засмеется да и скажет: «А вот возьму да и опоганю твой леденец», да и плюнет на него. «А ну-ка, Василиса, съешь теперь леденец. Вкусный!» Но Василиса, обиженно плача, отворачивается: «Дрянной мальчишка! Озорник! Негодник! Зачем опоганил мой леденец?» Так и с домом-коммуной сейчас. Лучше не глядеть на него. Еще ведет «администрацию», а уже души не вкладывает. Развязаться бы! И к жильцам холодок вырос. Не они ли шли против нее? С Федосеевыми. И за что? За что?...

К людям вообще холоднее стала. Раньше сердце Василисы горячее было. Всех бы в сердце вобрала. Всех жалела, о всех забота была... А теперь одно желание: оставьте в покое!.. Не троньте! Устала.

А весна глядит в окошко в светелку Василисы. Под самой крышей. И вместе с горячим солнышком заглядывает голубое весеннее небо с клубящимися облаками. Белыми, нежными, тающими... Сбоку торчит крыша старого барского особняка, где сейчас «дом матери», а за ним сад. Почки еще только наливаются. Весна запоздала. А все-таки пришла, голубушка.

И на сердце у Василисы сегодня весна. Нахолодалось сердце за зиму. Всё одна да одна. Всё заботы, борьба, неприятности... А сегодня праздник. Воистину праздник! Письмо от милого, от желанного, от Володи. И какое письмо! Давно такого Василиса не получала.

«Не томи меня, Вася, терпению моему конец. Сколько раз обещала приехать, навестить меня. Все-то меня обманываешь и огорчаешь. Буян ты мой неугомонный! Опять со всеми «передралась»? И тут у нас про тебя слухи были, промеж товарищей. Даже, говорят, ты в газеты попала?... Но уже теперь, раз дело твое закончилось победой, приезжай к своему любящему Володьке, который ждет не дождется тебя. Поглядишь, как мы теперь «по-барски» жить станем! У меня своя лошадь и корова, автомобиль всегда к услугам. Прислуга есть, так что тебе по дому хлопот не будет, отдохнешь. Весна у нас в разгаре, яблони цветут. Мы с тобою, Вася, милый буян, еще вместе весною не жили. А ведь жизнь наша должна всегда быть весною.

Кстати, ты мне теперь особенно нужна. У меня здесь неприятности с парткомом. Ко мне придираются стали. Вспомнили, что я де анархистом был... Началось все из-за Савельева, как я тебе уже писал. Ты должна тут это наладить, надоели мне склочники, житья от них нет!.. Придраться-то ко мне трудно. Дела веду хорошо. А все-таки ты сейчас очень мне нужна.

Целую горячо твои карие очи.

*Всегда твой Володька».*

Сидит Василиса, глядит через окошко на небо, на белые облака, думает. А в глазах улыбка. Хорошее письмо! Любит ее Володя, крепко любит. А уж он-то ей как дорог!.. Лежит письмо на коленях; Василиса гладит его, будто Володину голову. Не видит она голубого неба, крыши, облаков, видит лишь Володю-красавца, с его лукаво смеющимися глазами. Любит его Василиса, так любит, что сердцу больно... И как это она целую зиму без него прожила? Семь месяцев не видала!.. И будто даже мало о нем думала, тосковала. Не до мыслей о нем было, не до тоски по мужу. Сколько за зиму жизнь принесла забот да огорчений!.. Любимое детище, дом-коммуна спасала, с людьми глупыми, непонимающими, темными тяжбу вела. А любовь свою, тоску свою по Володе спрятала на самое дно души. Любовь к нему жила в сердце неизменно. Вспомнит о нем Василиса и почувствует: тут он, Володя, в сердце. И сладко от ноши этой, и будто даже тяжесть какую от любви чувствуешь!.. Должно быть, потому, что вечно о нем забота. Как бы чего с ним не стряслось! Дисциплины нет в нем. Правы товарищи, Василиса это сама знает, что корят его «анархистом». Не любит с постановлениями считаться, все по-своему гнет!.. Зато работать умеет. Другие так не станут. Весь тут, как до дела дойдет.

Потому и врозь жили, чтобы не мешать друг другу. И она любит коли дело, так уже и душу, и мысли – все сюда отдать. А если Володька близко, тянет к нему, работу запускаешь.

«Дело, прежде всего, а потом уже наша любовь, правда, Вася?» – говорил Владимир, и Вася соглашалась. Она сама так чувствовала. То и хорошо, что не просто они муж да жена, а товарищи. Вот и сейчас зовет ее, как товарищ, на помощь, неприятности уладить... Какие такие неприятности? Перечитала письмо Василиса. Затуманилась. Если из-за Савельева – нехорошо. Нечистый этот Савельев, спекулянт. Зачем Володя с ним водится? Директору,

каким теперь Володя числится, надо как стеклышко быть и темных людей избегать. Володя доверчив. Савельева пожалел, заступился... Таких людей, что народное добро расхищают, жалеть не приходится. Пусть по делам своим наказания несут. Но у Володи сердце доброе... А другие этого не поймут. Они по-иному «дружбу» Володи с Савельевым растолкуют. Врагов у Володи много, горячий он, на язык узды нет. Как бы не вышло опять как три года тому назад! Как бы «дела» какого против Володи не подняли!.. Трудно ли человека оклеветать? К каждому придаться можно. По себе Василиса теперь знает. Не травили ли ее саму всю зиму? Теперь Володькин черед.

Надо ехать к нему на помощь!.. Надо поддержать его, пристыдить товарищей тамошних. Чего раздумывать? Чего ждать? Собралась – да и в дорогу.

А дом?... Эх! Все одно! Теперь уж не спасешь!.. Развал идет. Выходит, что хоть будто победа за ней, за Василисой, а на деле победа-то за супругами Федосеевыми. Не спасешь!..

Вздыхнула Василиса. Подошла близко к окошку. Во двор заглянула. Будто с домом прощалась. Постояла. Строгая такая. Печальная.

И вдруг подумала: «Скоро увижу Володю!..» И щеки кровью залило, и от счастья на сердце даже больно стало. Милый! Желанный! Еду, еду к тебе!.. Володька мой!..

Едет Василиса в вагоне. Второй день едет, а еще целые сутки впереди.

Едет необычно, с удобствами, как буржуйка. Владимир деньги на дорогу выслал (теперь все за плату), наказал спальный билет купить. Да еще прислал кусок материи, чтобы костюм себе сшила. Жена директора должна быть «прилично одета». Смеялась Василиса, когда товарищ от Владимира Ивановича, от директора, явился с деньгами да с отрезом материи. Разложил материю. Расхваливает качество, будто иранский приказчик!.. Хохочет Вася, поддразнивает товарища. А он будто обиделся. Не думал он шутить, «товар действительно первосортный». Притихла Вася, не понимает она «новых товарищей», хозяйственников, но шутить перестала.

Ушел товарищ. Вася долго материю в руках вертела. Не привыкла она о нарядах думать. Но раз уж Володя хочет, чтобы жена его в грязь лицом не ударила, пусть так! Сошьет себе «костюм», модный, как все носят.

Пошла к приятельнице, швее. Рассказала дело, так и так: «Сшей, Груша, помоднее, как все носят».

Груша журналы достала, какие ей еще осенью из Москвы товарищ привез. По ним всю зиму мастерила. Нравилось. Хвалили.

– Ну и отлично. Выбери сама, Груша. Я выбирать не умею. Мне лишь бы чисто да не рвано было. А фасонов я не понимаю.

Груша долго листала потрепанный журнал, мусоля страницы. Наконец выбрала.

– Вот!.. Это тебе будет хорошо: ты тощая. Тебе надо, чтобы фигуру погуще сделать. Это тебе как раз... Бока будут пошире, да и на груди сборки, все не такая плоская будешь... Уж я сделаю так, что мужу понравиться.

– Ну вот и отлично.

О цене поторговались. Расцеловались. И ушла Василиса довольная. Хорошо, что на свете швеи есть, сама ни за что платя себе не придумала бы! Володечка, тот насчет «дамских юбок» знаток! Еще бы, в Америке в магазинах дамских мод служил. Ну и насмотрелся. Он в этом деле «спец». Теперь эти знания тоже нужны. «Красным купцам» надо толк знать и в дамских тряпках, тоже «товар»!

Сидит Василиса около окошка в купе спального вагона. Одна. Спутница, нэпманша, шумная, шуршащая шелками, вся надушенная, в серьгах, к соседям ушла. Громко смеется там с кавалерами. А от Василисы сторонится, брезгливо так губы поджимает: «Простите, душенька, вы на мой плед сели... Сомнете весь». Или: «Ушли бы вы, душенька, в коридор, пока я на ночь туалет свой сделаю». Точно она, раздушенная, нэпманша, хозяйка купе, а Василису так,

из милости пустили... Василисе неприятно, что нэпманша ее «душенькой» зовет. Но ввязываться в ссору не хочет. Ну ее ко всем!..

Вечереет. На весенних полях стелются серо-синие тени. Красный шар, солнышко низко повисло над лилово-черной полоской далекого леса. Взметнулись грачи, кружатся. Тянутся и рвутся столбами на части телеграфные проволоки...

И вместе с вечерними сумерками вползает в сердце Василисы безотчетная тревога, тоска... Не грусть, а именно тоска. О чем? Откуда? Зачем?

Василиса сама не знает. Так светло было все эти дни на сердце, празднично. Собиралась в дорогу.

Спешно сдавала дела. И всем вдруг стало жалко, что она уезжает. Может, и не вернется.

Пришла Федосеиха. Обняла Василису да и расплакалась. Виниться стала. Неловко Василисе. В душе нет у Василисы злобы к Федосеихе, только не уважает она ни ее, ни всех таких, как она... На вокзал пришли товарищи провожать Василису; заседание в жилотделе отменили (вечером поезд отходил). Из совета, из парткома... Детишки из дома-коммуны ей цветы поднесли, сами из бумаги сделали...

И поняла Василиса, что не напрасно силы свои, здоровье растратила. Семя посеяно... Кое-что да взойдет...

Слезы подступили, как поезд тронулся. Шапками машут... Милыми такими все кажутся. Расставаться жалко...

Но едва скрылся город, и навстречу весело, будто вперегонки убегая от поезда, замелькали перелески и дачные поселки, забыла Василиса дом-коммуну, забыла радости и горе, чем жила всю зиму, и побежала мысль вперед, обгоняя поезд. К нему, к желанному, милому, к мужу-товарищу... Скорее, поезд, скорее!.. Не жалея пара!.. Ведь везешь ты горячее, истосковавшееся женское сердце! Везешь в подарок любимому Васины карие глаза, Васину крепко любящую, чуткую душу...

Что же сейчас пригорюнилась Василиса? Откуда тоска к сердцу подкатила? Будто клещами холодными сердце сжато, и в горле склублились безотчетные слезы. О чем тоска? О чем?

Может, о том, что вот ушла полоса жизни вместе с домом-коммуной, ушла в прошлое, невозвратное, вот как уходят эти полосы, что весенней нежной янтарью подернуты... Уходят полосы одна за другой, и не увидит их больше Василиса никогда, никогда...

Всплакнула. Незаметно. Тихо. Слезы утерла, и сразу легче стало. Будто холодный ком тоски, что к сердцу подступил, со слезами на новую юбку костюма вылился...

Зажгли в вагоне огонь. Завесили окна. И стало вдруг уютно и не одиноко.

Ясно так, не умом, сердцем поняла Василиса: две ночи еще, а там и Володю увидит. Увидит, обнимет... Ожил голос его в памяти. Жаркие губы, крепкие руки.

Сладкой дрожью пробежала истома по телу, и уже смеются глаза... Кабы не нэпманша, что перед зеркалом вертится, запела бы Василиса от радости. Звонко. Так птицы поют по весне.

Ушла нэпманша, громко дверью хлопнула. Глупая!.. Закрыла Василиса глаза и думает о Владими́ре, о милом своем.

Думает, будто страница за страницей вся любовь их вспоминается. Пятый год любятся. Шутка ли! Пятый год!.. А будто вчера встретились... А то наоборот кажется: разве было время, когда не было в сердце Володи? Близкого, нежного?

Удобнее уселась в угол дивана. Ноги под себя подобрала. И глаза закрыла. Мягко качает вагон. Убаюкивает. А мысли бегут, бегут...

Вспоминается. Как это было? Как встретились в первый раз?

На митинге. Незадолго до октябрьских дней. Жаркое время было! Большевиков горсточка. А зато как работали!.. Меньшевики царили, крикуны-эсеры... Гнали, почти что били большевиков, «немецких шпионов», «продавцов родины», а что ни день больше, больше становится группа. Сами хорошенько не знали, что дальше будет, а понимали одно: надо добиться

мира и из Советов выгнать всех «патриотов-предателей». Это было ясно. И боролись. Напористо. Горячо. С верой. Без уступок. В глазах у всех решимость, без слов: хоть погибнуть, а не уступить!.. О себе никто не думал. Да и был ли тогда человек?

Вспоминает Василиса и все видит не себя, а группу. О ней тогда и в газетах писали, эсеровских, меньшевистских. Небылицы клепали, ввали, шипели... Пускай, на здоровье, шипят! Будто так и следует.

И читать-то не читали всего, что писали. Верили: правда за группой, за большевиками.

– Ты бы хоть мать свою пожалела!.. Всю семью срамишь... С большевиками связалась... Родину продаете! – плакалась старуха.

Чтобы дома упреков не слышать, переехала Василиса к подруге. Не жаль ей слез матери. Чужие ей стали родные. Одно только и есть на уме: добиться победы большевиков. Будто сила какая толкала. Не остановишься! Хоть в пропасть толкнет, все равно пойдешь, все равно будешь спорить, добиваться, бороться...

Все жарче схватки. Все накаленнее воздух... Гроза неизбежна. Из Питера вести решение съездов, речи Троцкого, воззвания Петроградского совета...

Вот тогда-то они и встретились. Многолюдный был митинг. Зал набит доверху. Стоят на подоконниках, в проходах сидят на полу. Дышать трудно... О чем был митинг? Не помнит Василиса... А вот президиум ясно видит и сейчас: председателем в первый раз избран большевик, членами тоже все большевики, левые эсеры... Среди них один анархист, известный в городе под кличкой Американец, из кооператива. Владимир.

В первый раз она его тогда увидела. А слышала о нем много. Одни им восхищались, говорили: «Вот это человек! Умеет заставить себя слушать». Другие его порицали: «Бахвал, но за ним стояли кооператоры-булочники и группа торгово-служащих». С ними приходилось считаться. Большевики радовались, когда он «крыл» меньшевиков, и злились на него, когда Владимир шел против группы. Чего же он хочет?!

Секретарь группы его не любил. «Путаная голова, от таких друзей лучше подальше». А Степан Алексеевич, самый почитаемый из большевиков города, посмеивался в седую бороду и говорил улыбаясь: «Погодите, не торопитесь, из него еще славный большевик выработается. Боевой парень! Дайте американской неразберихе из него поулетучиться».

Василиса о нем слышать слышала, но мимо ушей пропускала. Мало ли сейчас людей на виду стало, о которых раньше никто не слыхал? Не до них! На митинг пришла с опозданием. Запыхавшаяся. Говорила на кирпичном. Всюду митинги, такое время было. А она тогда в ораторах состояла. Ее слушали, любили. Нравилось, что женщина говорит, работница. А деловито, и слов зря не тратит. Такая уж манера у Василисы сложилась: кратко, да ясно. Нарасхват звали!

Пришла на митинг. Прямо на трибуну. Заранее записана в числе ораторов. Товарищ Юрочкин (теперь уж нет его, убит на фронте) за рукав ее дернул:

– Наша победа, большевики в президиум прошли... Два левых эсера и Американец... Этот-то почти что большевик. Сейчас говорить будет.

Посмотрела на Американца Василиса и почему-то удивилась. Вот так анархист! Она бы его за барина приняла. Крахмальный воротничок, галстук, волосы гладко в пробор расчесаны... Красивый. Ресницы как лучи... Как раз его черед говорить. Вышел. Откашлялся, руку ко рту приложил... «По-барски», – определила Василиса и чему-то усмехнулась.

Голос у него был красивый, вкрадчивый, и говорил он долго, много смешил публику. И Вася смеялась... Молодец анархист! Аплодирует ему Вася. А он, к столу президиума возвращаясь, нечаянно толкнул Васю. Обернулся и извинился. А Вася покраснела. И оттого, что покраснела, еще больше застыдилась и еще краснее стала... Досадно! Но «анархист» не заметил. Сел за стол, небрежно так облокотился на спинку стула и закуривать стал.

Председатель к нему нагнулся. На папироску показывает мол, тут курить неудобно. А Владимир плечами пожал и продолжает курить. Хочу, мол, и буду, мне ваши запреты не закон... Затянулся раза два, увидал, что председатель занялся другим, папироску бросил.

Вася все запомнила. Потом Владимира дразнила. А он ее тогда не заметил еще. Заметил, лишь когда черед ее настал, говорить начала.

Говорила она в тот вечер хорошо. И хоть спиной к нему стояла, а чувствовала, что Американец на нее глядит. Нарочно большевиков выхваливала против меньшевиков, эсеров и анархистов, хотя тогда сама хорошенько не знала, кто такие анархисты. Задеть хотелось Американца, уж очень он из себя барины корчит...

Вспомнила Вася, как посреди речи коса на плечо сползла. Тогда коса у ней была хорошая, вокруг головы обвивала. Заговорила, загорячилась, шпильки-то и повысыпались... Неловко ей, коса мешает, назад отбросила...

Не знала, что косою-то и приворожила к себе Владимира.

– Пока слушал твою речь не видел я тебя... А как коса твоя на плечо упала, понял я, что не оратор ты, а Вася-буян... Женщина!.. Да такая потешная, растерялась, а храбрится... Ручонками машет, анархистов ругает, а коса-то расплелась, и кудрявые змейки по спине рассыпались. Будто золотые нитки... Тут уж я решил – познакомлюсь с тобой, Васюк...

Это потом Владимир рассказывал, уже когда полюбились. А на митинге она этого не знала. Кончила говорить – и скорее косу заплетать. Юрочкин шпильки подобрал.

– Спасибо, товарищ.

Неловко так, все видят. Бойтся на Американца взглянуть, верно, заметил, осудил. И досадно ей чего-то, и сердится она на него. А что ей Американец?

Кончился митинг, только расходиться стали, Американец стоит:

– Позвольте представиться...

Назвал себя, от кого представляет. Руку пожал. И речь Васи похвалил. А Вася опять покраснела. Заговорили, заспорили. Она за большевиков, он за анархистов. Гурьбою вышли на улицу. Дождик, ветер.

От кооператива пролетка ждала. Анархист предложил Василису домой подвезти. Согласилась. Сели. Темно под спущенным верхом пролетки. Близко сидят, пролетка узкая. Трусит лошадь, по лужам шлепает копытами...

И уже не спорят Василиса и Владимир. Затихли. Замолчали. Обоим серьезно так на душе и радостно... Но не знали они, что тогда-то любовь их зародилась.

О пустяках говорят, о дожде, о том, что завтра опять митинг, на мыловаренном, днем собрание кооператива, а на душе светло так, празднично...

Подъехали к Васиному дому. Попрощались. И обоим жалко стало, что так скоро доехали. Но оба промолчали.

– А вы ноги не промочили? – спросил Владимир заботливо.

– Я? – Вася удивилась и чему-то обрадовалась. Первый раз в жизни кто-то о ней подумал, позаботился... И засмеялась Василиса, блеснув ровными, белыми зубами... А Владимиру тут же захотелось загрести ее в объятия и поцеловать эти белые, влажные, ровные зубы...

Калитка щелкнула; сторож впускал Васю в дом.

– До завтра, в кооперативе не забудьте! Собрание начнется в два ровно. У нас по-американски.

Снял Владимир свою мягкую шляпу и провожает Васю низким поклоном. А Вася в калитке обернулась, медлит... Будто ждет чего-то.

Захлопнулась калитка. Вася одна в темном дворике. И сразу праздника не стало... Беспокойно, тоскливо так сжалось сердце. Чего-то жаль. Чего-то досадно...

И кажется Вася себе такой маленькой, такой никому не нужной...

Сидит Вася в вагоне, под голову шерстяной платок подложила, вроде подушки. Не дремлет, а будто сны видит... Прошлое. Любовь свою. Как в кинематографе: лента за лентой, картина за картиной. Радость и горе, все это пережито с Владимиром, с Володькой... Хорошо вспоминать! И боль прежняя в памяти только приятна. Тогда больно было, а теперь зато хорошо!.. Еще удобнее уселась. Вагон покачивает. Баюкает. Хорошо!

Видит Василиса собрание кооператива. Шумное, горланистое, беспокойное. Булочники – народ неугомонный, напористый, неподатливый. Председателем Владимир. Он один в вожжах их держать умеет. С трудом, а держит. На лбу жилы от натуги вздулись, а на своем настоял. Не видит он, что Вася пришла, сидит она скромненько у стенки, наблюдает.

Провели резолюцию недоверия Временному правительству, а кооператив в руки рабочих забрать. И тут же правление свое выбрали – пайщиков, членов Городской думы, буржуев вычеркнуть и взносы их аннулировать. Отныне кооператив не «городской», а пекарей и приказчиков в кооперативе.

Но меньшевики тоже не дремали. Послали своих человечков оповестить кого следует.

Уже собрание расходиться собралось, только правление заседать оставалось. Вдруг в дверях, извольте радоваться! Комиссар-меньшевик, главная власть в городе, ставленник Керенского. А за ним лидеры меньшевиков и эсеров. Увидал их Владимир, и заиграл лукавый огонек в глазах.

– Товарищи! Собрание объявляю распущенным. Остается заседать правление кооператива революционных пекарей. Завтра общее собрание, чтобы дела обсудить... А теперь по домам. – Спокойно и твердо звучит голос Владимира. Публика шумно встает.

– Пойдите! Пойдите, товарищ! – несется раздосадованный голос комиссара. Прошу не распускать собрание...

– Господин комиссар, вы опоздали. Собрание уже распущено. А если желаете познакомиться с нашими резолюциями – пожалуйста, вот они! Мы собрались к вам делегацию послать для переговоров... А тут вы сами явились. Это еще лучше. Так и следует по-революционному, пора приучить, что не организации к правительственным чиновникам с донесениями бегают, а чиновники сами за справками в рабочие организации ходят.

Стоит Владимир, бумаги собирает, а глаза из-под лучистых ресниц бесенком играют, смеются...

– Правильно! Правильно! – раскатывается по зале.

Многие смеются. Пробует комиссар протестовать. К Владимиру вплотную подошел, волнуется, надрывается. А Владимир стоит себе невозмутимый такой, только глаза смеются, и голос его громкий да четкий. На весь зал слова его, ответы комиссару, разносит. Публика хохочет. Аплодирует Владимиру. Очень понравилось, что Владимир комиссара пригласил на вечеринку, справить переход кооператива от буржуев к пекарям.

Молодец Американец! За словом в карман не полезет!..

Так ни с чем ушел комиссар. Грозил «силу применить»...

– Попробуйте! – сверкнув глазами, бросил Владимир, и зал подхватил: «Попробуйте-ка! Попробуйте!»

Грозно стало в зале. Комиссар с меньшевиками через боковую дверь улизнули.

А в зале долго гул стоял. Заседание правления отложили до вечера. Перекусить надо раньше. Истомился народ. С утра заседали. Двинулась и Вася к выходу с народом. А перед глазами стоит Владимир.

Невозмутимый, со смешком в глазах... И такой непохожий на всех в своем чистеньком синем пиджаке. Но уже не кажется он «баринком». Сегодня она почувствовала: свой. Чем не большевик? И смелый. Такой ни перед чем не остановится. Нужно, так и под пули пойдет, ничего, что крахмальный воротник носит... И вдруг родилась у Васи не мысль, а желание: доверчиво вложить свою руку в большую руку Владимира. Вот бы с кем она в жизни пошла.

Рядом. Радостно, доверчиво... Но что она значит для такого, как Владимир?... Сравнила себя Вася с Владимиром и вздохнула. Красивый, много видел, в Америке был... А она?... Дурнуша, малознайка, ничего, кроме своей губернии, не видала... Станет он на нее внимание обращать!.. Вот и сегодня не заметил...

Но не успела Вася додумать, как слышит возле себя Владимира голос:

– Мое почтение, товарищ Василиса. Ловко мы господина комиссара в пот вогнали?... Чтобы не повадно было!.. Больше сюда не явится. Будьте покойны! И резолюции наши мы им только для сведения пошлем.

Оживленный такой Владимир, весь делом горит. И Васю заразил. Разговорились. Смеются оба. Довольны. Если бы Владимира товарищи не оттащили, долго бы еще в снях стояли, все о комиссаре да о резолюциях говорили.

– Ну, делать нечего, идти надо... Не могу больше с вами быть, товарищ Василиса. – И в голосе его слышит Вася сожаление.

Радостно дрогнуло сердце, и подняла она на него свои карие глаза, ласковые, внимательные... В них душа Васи светилась. Посмотрел в них Владимир. Затих, точно сам в них потонул.

– Товарищ Владимир! Чего застряли! Не задерживайте людей, дела-то по горло.

– Иду.

Пожал наскоро руку Васе и ушел.

А Вася пошла по городу, сама не знает куда... Улиц не видит, людей не видит... Только Владимира. Такого еще с Васей не было.

Вечер. Зимний. Морозный. Ясный. На небе звезды горят. Много их. А снег чистый, белый, новый. Улицы замел, на крышах, на заборах залег, деревья разубрал хлопьями пушистыми...

Идут с заседания Совета Василиса и Владимир. Октябрь позади. Теперь уже власть в руках Совета. Меньшевиков и правых эсеров повыперли. Остались одни «интернационалисты». Всем руководит группа. Влияние большевиков растет. Рабочие все с большевиками. Только одни буржуи против, да еще попы и офицеры. С ними Совет борьбу ведет. Еще не налажена жизнь, еще не улеглись революционные волны. В городе патрули Красной гвардии... Бывают и перестрелки. Но будто самое трудное позади...

Вспоминают Василиса и Владимир дни, когда «власть брали». Пекари Владимира тогда положение спасли. Решительные ребята! Владимир ими гордится. От них и в Совет прошел. Идут рядом Василиса и Владимир, на улицах тихо. Патрули Красной гвардии пароль спрашивают. И на Владимире красная повязка на руке, а на голове папаха, тоже в гвардию рабочую записался. Под пулями побывал. Вот и рукав прострелен у плеча... Васе показывает. Хоть и видались часто это время, а говорить не пришлось, все некогда.

Зато сегодня вышли вместе, не сговорившись. И сразу на душе праздник. Хочется много-много друг другу рассказать, будто старые друзья встретились, обо всем наговориться... А то вдруг оба замолчат. И будто тогда-то еще лучше... Радостнее, ближе. Васин дом прошли. Не заметили. Вот уж и околицы пригорода, сейчас огороды начнутся... Куда забрели! Остановились. Подивились. Засмеялись. Постояли, на небо поглядели. Звезды горят, переливаются. Хорошо! Легко так на душе. Молодо. Бдро.

– У нас в деревне часов не было, так мы по звездам время узнавали... Отец особенно хорошо звезды знал. Точка в точку время скажет.

Владимир рассказывает про свое детство. Семья большая, хозяйство крестьянское, бедное. Всего недохват. Учиться Володя хотел. А школа далеко. Сговорился сам с поповой дочкой, гусей у них пас, зато она его грамоте учила.

Вспоминает Владимир деревню, поля родные, перелески... И стал он весь вдруг нежный да грустный.

«Ишь какой он!..» – подивилась Вася. И стал он ей с этой минуты еще милее.

На Америку перескочил. Рассказывает, как туда подростком уехал, сам дорогу себе пробить решил. На транспортном судне два года проплавал. Потом в порту работал. В забастовке участвовал. Волчий билет дали. В другой штат уехать пришлось. Голодал. Пробавлялся работой, какая попадется. Уборщиком в большой нарядной гостинице был... Каких там богачей видел!.. И женщин!.. В тюлях, шелках, брильянтах... Швейцаром в модном магазине служил. Платили хорошо. Костюм с галунами. Ценили за рост и фигуру. Надоело. Уж очень кипело сердце злобой на всех этих богачей-покупателей!.. Пробовал шоферство брать. С богатым коммерсантом хлопка ездил по Америке, возил его в богатом автомобиле за сотни верст... И шоферство надоело. Тоже кабала!.. Через коммерсанта в хлопковое дело вошел, приказчиком стал... И курсы посещать начал, на счетовода... А тут революция! Все бросил, в Россию полетел. В организации еще в Америке состоял. В тюрьме побывал за столкновение с полицией. Коммерсант за него заступился. Ценил его как шофера. Знал, что анархист, а уважал. И руку ему подавал. Америка не то, что Россия!..

Любит по-своему Америку Владимир.

Ходили, ходили по улицам. Вася слушает, а Владимира не остановишь! Будто всю жизнь свою сразу Васе поведать хочет... Опять к калитке подошли, где Вася живет.

– А нельзя ли к вам зайти, чайку выпить, товарищ Василиса? – спрашивает Владимир. В горле пересохло... Да и спать неохота еще.

Подумала Вася. Подруга-то, наверно, уже легла.

– Ничего, разбудим! Втроем напьемся, веселее еще будет.

А и в самом деле. Почему не пригласить Американца? Самой жаль с ним расставаться. Такими друзьями стали...

Вошли. Самовар поставили. Владимир помогает.

– Дамам всегда помогать следует. У нас так в Америке принято...

Сидят за чаем. Шутят. Дразнят подругу, что с постели подняли и глазами со сна моргает. Хорошо на душе у Василисы. Весело.

А Владимир опять об Америке рассказывает. Про тех женщин, красавиц, в шелковых чулочках, что в модный магазин в автомобиле приезжали, когда он в галунах и треуголке с пером у дверей за швейцара стоял. Одна ему записку сунула, свидание назначила... Не пошел! Он «баб» не любит. Возня!.. Другая – розу подарила...

Слушает Вася рассказы Владимира о красавицах-американках в шелковых чулочках, и кажется ей, что сама она становится все меньше, все некрасивее...

Потухла радость на сердце. И нахмурилась Василиса.

– Вы что же, в таких красавиц влюблены были? – Голос у Василисы глухой. Разозлилась на себя: зачем сорвалось?

Поглядел на нее Владимир. Внимательно. Ласково. И головой покачал:

– Свое сердце и любовь свою, Василиса Дементьевна, я всю жизнь берег. Только чистой девушке его отдам. А эти дамы что? Развратницы. Хуже проституток.

И опять радость подкатила к сердцу и застыла, не разлившись.

Для чистой девушки берег сердце?... Но ведь она-то, Вася, не «чистая» больше?... Крутила любовь с Петей Разгуловым, из машинного отделения, пока на фронт не ушел... Потом был партийный организатор, женихом его считала... Тоже уехал. Писать перестал. И забыла о нем.

Как же быть теперь?... Только «чистой девушке»!..

Глядит Вася на Владимира. Слушает и не слышит. Такая мука на сердце!.. А Владимир решил, что надоел он своими рассказами.

Оборвал, встал. Спешно так прощается. Холодно.

У Васи слезы к горлу подступили... Так и кинулась бы на шею ему!.. Но разве ему нужна она? Красавиц каких видел!.. А сердце свое «чистой девушке» бережет...

Проплакала Вася всю ночь. Решила Американца избегать, не встречаться. Что она ему? Он бережет сердце свое для «чистой девушки»...

Вася решила Американца избегать, а жизнь решила теснее их свести.

Приходит Василиса в комитет, а там спор идет: назначить надо нового коменданта города. Одни Владимира предлагают. Другие и слышать не хотят... Особенно секретарь парткома уперся! Ни за что! И без того уже весь город об американце кричит. Разъезжает, словно губернатор, на своей пролетке от кооператива, папаху заломив. Обывателей в страх вгоняет!.. А сам дисциплины не признает. Опять на него жалобы: декретов в кооперативе не соблюдает.

Вася за Владимира заступилась. Обидно ей, что так про него говорят, анархистом зовут. Недоверие такое глупое! Лучше большевиков работает. Степан Алексеевич тоже за Владимира стоит. Голосуют.

Семь голосов против Владимира, шесть за. Ну, что поделаешь! Немного и сам Владимир виноват, хорохорится больно.

А Владимиру досадно. За что не доверяют? Он и сердцем, и душою за революцию. Узнал о решении комитета. Обозлился. Нарочно большевиков ругает:

– Государственники! Централисты! Полицейский режим вводить хотят!

На Америку ссылается, где надо и где не надо, свой «IWW» тычет... Комитет волнуется. Требуется, чтобы Владимир «подчинялся директивам»...

Что ни день – склока острее. Мучается Вася. За Владимира заступается, до хрипоты спорит.

Дело до Совета дошло. Опять кооператив приказа не выполнил.

А Владимир все одно долбит: – Не признаю полицейских мер! Каждое учреждение само себе хозяин. Дисциплина? Плевать я хочу на вашу дисциплину... Не для того мы революцию делали, кровь проливали, буржуев выгоняли, чтобы в новую петлю лезть... Командиры какие нашлись!.. Мы и сами командовать умеем.

Спорили, кричали... – Не подчинитесь, мы вас из Совета исключим, – пригрозил председатель.

– Попробуйте только! – сверкнул глазами Владимир. – Всех своих молодцов пекарей из милиции отзову!.. Кто вас тогда защищать будет? Живо под пяту буржуев попадете. Туда и дорога вашему Совету! Не Совет, а участок!..

Сжалось сердце у Василисы. Ах, зачем это сказал!.. Теперь нападут. И не ошиблась Вася. Взволивалось собрание. Как? Совет оскорблять?... Стоит Владимир бледный. Защищается. А кругом гудят, напирают...

– Исключить! Арестовать! Вышвырнуть негодяя!..

Спасибо Степану Алексеевичу, выручил. Предложил Владимиру удалиться в соседнюю комнату. Ушел Владимир. И Вася за ним. Досадно ей, зачем «глупость сморозил»? Да и на Совет сердце берет: можно ли по словам человека судить? По делам судят. Всякий знает, как Владимир за Советы стоит: не он, так, пожалуй бы, тогда, в октябре, и не отстояли бы большевиков... Это он офицеров обезоружил, это он заставил городского голову бежать из города, а непокорных вывел на улицу: нате, снег разгребайте!..

За что же его из Совета исключать? За горячее слово?

Волнуется Вася, идет в комнату, что позади президиума помещается. Сидит Владимир у стола, голову рукой подпер. Хмурый. Глаза свои лучистые на нее поднял, а в них мука, тоска и обида. Такой показался он ей вдруг малый да беспомощный, будто обиженный ребенок.

И нежной жалостью затопилось сердце Василисы. Ничего бы не пожалела, только бы не страдал ее милый!

– Напугались наши государственники? – начал Владимир хорохористо. – Струсил моей угрозы? Еще не так... И оборвался.

Глядит на него Вася тепло так, в глазах упрек.

– Не правы вы, Владимир Иванович... Сами себе вредите!.. Ну зачем вы это сказали? Вышло, что вы против Совета пойдете...

– И пойду, если Совет вместо участка станет! – еще упрямится Владимир.

– Сами не думаете. – Близко подошла к нему Вася. И, будто старшая, на него глядит: ласково, а серьезно.

Владимир в глаза ей смотрит. Молчит.

– Признавайтесь сами, погорячились!.. – Опустил голову Владимир.

– Сорвалось... Обозлили.

И снова глядит в глаза Васе, будто мальчик, что матери винится.

– Теперь уж не поправишь... Все пропало! – махнул рукой.

Подошла Вася к нему вплотную. Сердце от боли-нежности разрывается. Такой он ей сейчас родной стал. Положила руку на голову его, гладит.

– Полно, Владимир Иванович!.. Чего духом падаете?... А еще анархист!.. Не годится это, Владимир!.. Надо в себя верить. Не даваться людям в обиду.

Стоит Вася над Владимиром, голову его, как маленького, гладит, а он головой к сердцу ее прижался, доверчиво так, будто опоры у ней ищет... Такой большой, а чисто ребенок разобиделся!..

– Тяжело мне... Много жизнь была. Думал, революция, товарищи... Все теперь по-иному будет.

– И будет!.. Только по-хорошему надо, по-товарищески.

– Нет уж, теперь не будет по-хорошему!.. Не умею я с людьми ладить.

– Сумеете! Я верю!..

И подняла Вася голову Владимиру, смотрит в глаза его, точно всю веру свою вложить в свой взгляд хочет... А в глазах Владимира тревога и тоска... Нагнулась Вася и нежно так поцеловала волосы Владимира.

– Надо дело это уладить... Придется тебе повиниться... Сказать, что погорячился... Не так тебя поняли...

– Хорошо, – покорно согласился Владимир, а сам в глаза ей глядит, точно опоры ищет. И вдруг сгреб ее всю в свои объятия, к сердцу прижал так, что больно ей стало... Губами жаркими забрал Васины губы...

Взбежала Вася на эстраду, к президиуму. Прямо к Степану Алексеевичу. Так и так. Надо Владимира Ивановича выручить.

Уладили инцидент.

Но враждебность к Владимиру осталась. Образовалось два лагеря в Совете. Светлые, дружные дни миновали...

Не хочется Васе думать дальше. А мысли бегут. Не остановишь!

Как же сошлись они? Это было вскоре после того инцидента в Совете. Владимир провожал ее домой. Теперь уже они всегда вместе уходили. Друг друга искали. И, как одни оставались, на «ты» были.

Подруги дома не оказалось. И сразу Владимир Васю на руки подхватил, целовать стал... Горячо, горячо. И сейчас Вася помнит его поцелуи. Но она из рук его выбилась. Отстранилась и в глаза ему глядит:

– Володя!.. Ты не целуй меня... Я не хочу обмана... Он не понял ее, удивился:

– Обмана? Ты думаешь, что я тебя хочу обмануть? Разве ты не видишь, что я полюбил тебя с первой встречи?...

– Не то! Не то, Володя!.. Тебе-то я верю. А вот я... Постой! Не целуй меня! Ты хочешь отдать свое сердце «чистой девушке»?... Я не девушка, Володя, у меня были женихи...

Говорит, а сама вся дрожит... Вот-вот рассыплется все ее счастье.

– Мне дела нет до твоих женихов! – перебивает Владимир. – Ты моя!.. Чище тебя, Вася, нет в мире человека... Ты душою чиста.

И прижал к сердцу так крепко, так горячо... – Ты же любишь меня, Вася? Правда, любишь?... Ты же моя!.. Моя!.. И больше ничья. А о женихах своих – слышишь? – никогда больше не смей вспоминать. И мне не говори... Не хочу знать! Не хочу!.. Ты моя, и все тут!..

Так началась их брачная жизнь.

Темно в купе. Улеглась нэпманша, продушив вагон цветочным одеколоном. Смирно на верхней койке лежит и Василиса. Заснуть бы... Нет, не спится. Все вспоминается прошлое. Будто итог подводит. Зачем итог? Ведь еще вся жизнь впереди! И любовь жива. И счастье впереди... Но где-то в уголке сердца чувствуется Василисе, что уже прежнего нет. Того счастья, что было тогда, четыре года тому назад, его нет!.. И любовь не та, и сама Василиса не та.

Почему это? Кто виноват?...

Лежит Василиса, руки за голову закинула. Думает. За все эти годы некогда думать было. Жила. Работала. А теперь, кажется, что чего-то недодумала, что-то пропустила... Неладья в партии. Склоки в учреждениях...

Тогда, вначале, все было иначе. И Володя был другой. Правда, хлопот с ним было немало. То и дело с «верхами» сцеплялся. Но Вася умела его урезонить. Он ей доверял, слушался.

Началось наступление белых. Город под угрозой. Владимир на фронт собрался. Вася не удерживала. Только убедилась: раньше в партию запишись. Хорохорился... Спорил... Записался.

И стал большевиком. Уехал.

Мало и писали друг другу. Наезжал налетом на день-другой. И опять недели, месяцы целые врозь. Так будто и надо. Даже не тосковалось. Некогда. И вдруг в комитете узнает Вася: против Владимира дело подняли. Что такое? В снабжении работал.

Будто «кутежами» занялся, дела запутал, будто «на руку нечист».

Вскипела Вася. Неправда! Не поверю! Интрига. Склоки. Навет.

Бросилась разузнавать. Пахнет серьезным. Еще не под судом, а с работы отстранили. Упросила Степана Алексеевича, чтобы командировку ей на фронт дали («подарки везти»), в три дня собралась.

Поехала. Трудно пробираться было. Всюду задержки, неувязка поездов. Бумаг не хватает. Вагон с подарками не перецепили. Измучилась. Душа тревогой изошла. А вдруг уж дело до суда дошло? Только тогда поняла она, Вася, как любит она

Владимира, как дорог он ей... И верит в него как в человека, верит!.. Чем больше ему другие не доверяют (думают, анархист, так уж на все подлое способен), тем упорнее стоит Вася за него. Никто ведь так душу его не знает, как она, Вася!.. А душа у Владимира нежная, как у женщины! Это только так кажется, что он суров да непреклонен!.. Вася знает, что добром да лаской его на все хорошее повернуть можно...

А что озлоблен, так это верно! Жизнь несладкая была, пролетарская.

Приехала Василиса в штаб. С трудом узнала, где Владимир квартирует. Пришлось под проливным дождем через весь город плестись. Хорошо, что товарищ проводил... Устала, продрогла... Однако рада – узнала, что еще разбор дела не закончен. Настоящих улик нет. Мнения в особом отделе разделились. Слухи, доносы... Смutilо только, что переглянулись с нехорошей усмешкой, когда Вася «женой» его открыто назвалась. Будто что-то скрывают. Надо все узнать, до конца. И потом к самому тов. Топоркову пойти, что из центра приехал. Он Владимира по работе знает. Пусть «травлю» кончат!.. За что его так мучают? За что? Были же другие меньшевиками, эсерами их не травят небось... Чем анархист хуже?

Подожли к деревянному домику, где Владимир квартировал. В окнах свет. А дверь крыльечка на запоре. Побарабанил товарищ, тот, что Васю провожал. Никто не отзывается. А у Васи ноги до щиколоток промокли. И вся отсырела, промерзла. Не столько о радости встречи

думает, сколько о том, как бы в теплую комнату попасть, платье, чулки переменить... Пять дней в теплушке, без сна почти.

– Постучим в окно, – решил товарищ. Отломил сук у березы и давай суком в окно колотить.

Отодвинулась занавеска, и видит Вася Володину голову, будто в рубашке нижней. В темноту вглядывается. А за плечом его женская голова... Мелькнула и скрылась.

Васе показалось, что у сердца что-то засосало... Томительно, до тошноты.

– Да отпирайте же, товарищ! Жену вам привел.

Опустилась занавеска, спрятала Володю и женщину. Поднялись на крылечко Вася и провожатый. Ждут. Чего так долго? Васе кажется, что конца нет.

Распахнулась дверь наконец. Вася очутилась в объятиях Владимира. Обнимает, целует... Лицо такое радостное!.. Даже слезы на глазах...

– Приехала! Приехала ко мне! Друг мой! Товарищ мой, Вася.

– Вещи-то хоть возьмите, куда я с ними? – угрюмо напоминает провожавший товарищ.

– Да идемте все ко мне в квартиру... Поужинаем. Ты, небось, промокла? Озябла?

Вошли в Володину квартиру. Светло. Чисто. Столовая, дальше спальня. В столовой у стола сидит сестра, в белой косыночке, на рукаве красная нашивка Хорошенькая. И опять Васю в сердце кольнуло. А Володя знакомит их:

– Познакомьтесь, сестрица Варвара. Это моя жена, Василиса Дементьевна.

Подали друг другу руки, и обе пристально так друг на друга посмотрели. Будто что-то проверяли.

– Что же ты, Вася? Раздевайся!.. Ты здесь хозяйка. Видишь, как хорошо живу? Получше, чем в твоей каморке. Давай сюда пальтишко... Мокрое какое... Надо к печке повесить.

Сестра стоит, не садится.

– Ну, Владимир Иванович, о делах мы с вами уж завтра поговорим. А теперь я вашему семейному счастью мешать не хочу.

Пожала руку Васе, Владимиру и вместе с товарищем, что Васю провожал, ушла.

А Владимир Васю на руки подхватил, по комнате носит, ласкает, целует – не нарадуется. И легче на душе у Васи. Самой себя стыдно. Но среди поцелуев все-таки бросила вопрос:

– А кто была эта сестра?

И голову откинула, чтобы лучше глаза Володи видеть.

– Сестра? По снабжению госпиталя приходила... Доставку поторопить надо... Всюду задержки. Хоть я и устранен от дела, а все-таки без меня не обходятся. Чуть что – ко мне.

И заговорил о деле, о том, что обоих мучило. Спустил Васю на пол. В спальню прошли. И опять Васю кольнуло – уж очень небрежно постель заделана, будто наскоро одеяло накинули. Поглядела на Владимира. А он заложил руку за спину (привычка такая у него, знакомая и потому милая), ходит по комнате. Про свое «дело» рассказывает, как было, с чего началось. Слушает Вася, и обидно ей за Владимира. Чувствует, склока да зависть. Чист ее Володя. Так и знала она. Иначе и быть не может.

Достала из чемоданчика чулки, а сапог переменить и нет. Как быть?

Заметил Владимир.

– Ишь какая! Даже лишней пары сапог у ней нет!.. Ну да я тебе кожи, так и быть, достану. Наш сапожник тебе сделает за милую душу! А теперь давай-ка я сам тебе сапоги сниму. Мокрота-то какая!

Стянул сапоги, сбросил на пол мокрые чулки Васи и в руки свои горячие холодные ноги Васи взял.

– Ноги-то у тебя какие игрушечные! Эх, Васюк ты мой! Любимый. – Нагнулся и поцеловал обе ноги.

– Что ты! Володька! Глупый.

А сама смеется.

И опять на душе светло. Любит! Любит! Любит!

Пили чай. Говорили. Советовались. Доверчивый такой Владимир, все ей рассказал: где нагрубил не вовремя, погорячился, где постановления не исполнил, по-своему гнул, не терпит он приказов!.. Где маху дал, что дрянных людишек к работе подпустил. Но насчет «нечистоты на руку» неужто Вася могла подумать, поверить? Стоит Володя перед ней, дышит часто, вскипел весь.

– Если и ты могла подумать!.. Ты, Вася!..

– Не то, Володя, а боялась я, как-то отчетность у тебя?... Теперь ведь строго спрашивают!

– Насчет отчетности беспокоиться нечего... Те, кто дело затеял, осекутся. Отчетность у меня что стеклышко. В Америке не даром на бухгалтера учился.

Совсем отлегло от сердца у Василисы. Теперь бы только с товарищами повидаться, договориться, разъяснить им, как да что.

– Умница моя, что приехала! – говорит Владимир. Уж я тебя и ждать не смел. Знаю, как ты там занята. Не до мужа, думаю, не до Володьки!..

– Милый! Да разве ты не знаешь, что нет мне покою, когда ты далеко?... Вечно тут, у сердца, сосет: а что он? Как? Не стряслось ли чего?

– Ты все равно что ангел-хранитель мой, Вася. Сам знаю, – так серьезно сказал и поцеловал Васю.

А глаза вдруг грустные стали, задумчивые. – Не стою я тебя, Вася... Только люблю я тебя больше всего в мире! Не веришь? Одну тебя люблю! Только тебя... Все остальное ерунда...

Тогда Вася не поняла его. Только удивилась, что уж очень как-то горяч он да неровен.

В спальню пришли. Ложиться пора. Вася постель подправлять стала, одеяло откинула. Что это? В висках застучало... Ноги задрожали. Женский кровавый бинт... На простыне кровавое пятно.

– Володя!.. Что же это?

Не голосом, стоном вырвалось. Метнулся Владимир к постели. С сердцем швырнул бинт на пол.

– Негодяйка хозяйка! Опять, верно, без меня тут разлеглась... Постель испачкала... Рванул простыни на пол.

– Владимир!..

Стоит Вася, глаза широко открыты, и в них Васина душа.

Взглянул в них Владимир и затих.

– Володя!.. Зачем это? За что? Повалился Володя на кровать. Руки ломает...

– Все погибло! Все погибло! Но, клянусь тебе, Вася, я люблю только тебя, одну тебя!..

– Зачем же ты это сделал? Зачем любовь нашу не пожалел?...

Вася!.. Я молод... Месяцами один... Они, подлые, увиваются... Я их ненавижу! Всех, всех! Бабы! Липнут...

Тянет руки к ней, а у самого слезы по щекам текут, крупные такие, на руки ей падают, горячие...

– Вася! Пойми меня, пойми! Иначе я погибну! Пожалей... Жизнь трудная!..

Нагнулась Вася и, как тогда в Совете, поцеловала его голову. И опять нежность и жалость к нему, такому большому, а будто по-детски беспомощному, затопила сердце Василисы.

Если она не поймет, не пожалеет, кто же тогда? И так люди с камнями стоят, чтобы его закидать... Неужели же из-за своей обиды она его бросит? А еще хотела всегда грудью своей от ударов спасать его, что судьба наносит... Дешева же ее любовь, если от первой обиды от него отступится...

Стоит Вася над Владимиром. Гладит его голову. Молчит. Ищет выхода. Стук в дверь. С крыльца. Барабанят настойчиво, властно. Что такое?

Оба переглянулись. И оба сразу поняли. Спешно обнялись, поцеловались крепко-крепко. В сени пошли. Так и есть.

Следствие по делу закончено. Постановлено: арестовать Владимира. Кажется Васе, что пол ходуном ходит...

А Владимир спокоен. Вещи собрал. Все Васе объяснил, где какие бумаги, кого в свидетели вызвать, от кого показания получить... Увезли Владимира.

Года прошли, а этой ночи Вася не забудет вовек... Страшнее ее ничего в жизни не было!.. И быть не может.

Два горя разрывают сердце Василисы: женское горе, многовековое, неизбывное, и горе друга-товарища за обиду, нанесенную любимому, за людскую злобу, за несправедливость.

Мечется Вася по спальне, будто полоумная. Нет ей покою!..

Вот тут перед ней, в этой самой комнате, на этой постели, Владимир ласкал, целовал, голубил другую женщину... Ту, красивую, с пухлыми губами, с пышной грудью. Может, любит ее? Может, из жалости к ней, к Василисе, правду не сказал?...

Правду хочет Василиса! Только правду!.. Зачем отняли, вырвали у ней Владимира сегодня! Зачем сегодня?... Был бы тут он, она дозналась бы, допросила... Был бы тут он спас бы ее от собственных жутких мыслей, пожалел бы...

Рвется ее женское сердце от горя, от обиды... И к Владимиру злоба шевелится: как смел так поступить?! Любил бы, не взял бы другую... А не любит – сказал бы прямо. Не томил бы, не лгал...

Мечется Василиса из угла в угол, покоя ей нет.

А то вдруг новая мысль иглой в сердце вонзается: а что, если дело Владимира серьезное? Что, если не зря его арестовали? Что, если опутали его дрянные людишки, а ему отвечать придется?

Забыто женское горе. Забыта сестра с пухлыми красными губами. Остается один страх за Владимира, леденящий, до тоски смертельной... Остается обида за него, жгучая, тошная. Обесславили. Арестовали. Не пощадили. Тоже товарищи!..

Что такое ее обида, бабья обида, как сравнишь ее с обидой, что нанесли ему, милому, свои же «товарищи»? Не то горе, что другую целовал, а то горе, что правды нет и в революции, справедливости нет...

Усталость забыта. Точно и тела нет больше у Василисы. Одна душа. Одно сердце, что, будто когтями железными, раздирают мучительные думы... Рассвета ждет. А с рассветом решение пришло: отстоять Владимира. Не дать его в обиду. Вырвать из рук завистников-склочников. Доказать всем, всем, всем: чист ее друг, муж-товарищ, оклеветали его. Зря обесславили, разобидели...

Ранним утром красноармеец принес ей записку. От Володи.

«Вася! Жена моя, товарищ любимый! Мне теперь все равно мое дело... Пусть я погибну... Одна мысль гложет меня, с ума сводит – не потерять тебя. Без тебя, Вася, жить не стану. Так и знай. Если разлюбила, не хлопочи за меня. Пускай расстреляют! Твой, только твой Володя».

«Люблю я одну тебя. Хочешь – верь, хочешь – нет. Но это я скажу и перед смертью...»

На другом углу еще приписка:

«Я тебя никогда не корил твоим прошлым, сумей понять и прости меня теперь. Твой сердцем и телом».

Прочла Вася записку, раз, другой. Полегчало на сердце. Прав он. Никогда ее не попрекнул за то, что не девушкой взял.

А мужчины все так, как он! Что же делать ему, если сама эта «баба» ему на шею вешалась? Монаха, что ли, изображать?

Прочла еще раз записку. Поцеловала. Сложила аккуратно. Спрятала в кошелек. За дело теперь. Володю выручать.

Хлопотала. Бегала. Волновалась. Натыкалась на бюрократию, на равнодушные людское. Духом падала. Надежду теряла. И снова силы собирала. Бодрилась и заново принималась воевать. Не даст она неправде восторжествовать! Не даст склочникам, доносчикам победу над Володей справить!..

Добилась главного: товарищ Топорков сам дело в свои руки взял. Пересмотрел. И резолюцию наложил: дело за голословностью обвинений прекратить. Арестовать Свиридова и Мальченко. А на другое утро Вася уже не встала: ее схватил сыпняк. К вечеру Вася никого не узнавала. Не узнала она и вернувшегося Володю.

Вспоминается Васе болезнь, как душный сон. Под вечер очнулась. Смотрит комната. Незнакомая. Лекарство на столе. Сидит у ее постели сестра в косынке... Плотная, немолодая, со строгим лицом.

Смотрит Вася на нее, и неприятно ей, что тут сестра, и мучает ее белая косынка... А почему? Сама не знает.

Пить хотите? Сестра нагибается, питье подносит.

Вася напилась и снова забылась. В полусне кажется ей, что Володя над ней нагибается, подушки поправляет. И опять забывается Вася...

Снится ей, а может, это и явь? В комнату ворвались две тени – не тени, женщины – не женщины... Одна белая, другая серая. Кружатся, свиваются... Не то танец такой, не то силами меряются. И понимает Вася, что это жизнь и смерть к ней ворвались. Борются... Кто победит?

Страшно Васе, так страшно, что крикнуть хочется, а голоса нет... И еще страшнее от этого... Сердце колотится, стучит... Вот-вот разорвется... Бах-бах-бах... На улице перестрелка.

Открыла Вася глаза. Ночник горит, чуть коптит. Одна. Ночь. Прислушалась. Мыши скребутся. Будто что-то под полом катают. Все ближе да ближе... И уж по-иному жутко Васе, кажется ей, что мыши вот-вот на постель к ней заберутся, по ней бегать начнут... А сил согнать их и не будет...

Заплакала Вася, зовет слабым голосом: «Володя, Володя, Володя!»

– Вася, милая! Малыш ты мой ненаглядный! Что, что с тобою?

Володя озабоченно нагибается над ней, смотрит в глаза.

– Володя, ты? Живой? Это не кажется? – Слабая рука Васи пытается дотянуться до головы Володи.

– Живой, живой, милая, с тобой!.. Чего ты плачешь? Что случилось с Васюком? Сон приснился? Бред опять? Он нежно целует ее руки, гладит ее потную, стриженую голову...

– Нет, не сон... Тут мыши скреблись... – виновато, со слабой улыбкой.

– Мыши?! – Володя смеется. Ну и храбрец мой Васюк стал... Мышек испугался!.. Говорил я сиделке, нельзя тебя одну оставлять. Хорошо, что я как раз домой вернулся!..

Хочет Вася спросить его, где он был... Но такая слабость, что и говорить сил нет. Но слабость приятная, баюкающая. А самое хорошее, что возле он, любимый, Владимир... Вцепилась слабыми пальцами в его руку, не выпускает.

– Живой, – шепчут ее губы, улыбаясь.

– Конечно, живой, – смеется Володя. И осторожно целует ее голову.

Вася открывает глаза.

– А косы-то моей больше нет? Срезали?

– Ничего! Не тужи, теперь зато ты настоящий мальчишка. Васюк и есть.

Вася улыбается. Ей хорошо. Так хорошо, как только в детстве бывает.

Володя не уходит. Она дремлет, а он сидит возле на стуле, сторожит ее сон.

– Спи, спи, Вася. Нечего тебе глаза на меня тарашить... Успеешь наглядеться, когда выздоровеешь... Ане будешь спать, опять заболеешь, и доктора меня выругают, скажут: плохая я сиделка...

– Ты не уйдешь?

– Куда же я уйду? Тут возле тебя на полу все ночи сплю... Спокойнее мне, как я тебя вижу... Днем-то опять на работе...

– На работе?... В снабжении?

Ну да... Все улажено. Этих мерзавцев арестовали... Да ты не разговаривай, несносный Васюк!.. Спи... А не то уйду...

Крепче впиваются в его руку ее слабые пальцы. Но глаза Вася послушно закрыла.

Так хорошо, так сладко засыпать, когда Володя около. И глядит на нее заботливо, нежно...

– Милый!..

– Спи, несносный, непослушный мальчонка...

– Я сплю... Только я люблю тебя...

Нагибается Володя, осторожно, нежно, долго целует ее закрытые глаза...

И хочется Васе заплакать от счастья... Умереть бы сейчас! Лучше этого счастья в жизни уже не будет.

Вспомнила Василиса свои мысли тогда и сама испугалась. Неужто не будет? Неужто верно подсказало ей сердце тогда: лучшего счастья не бывать?...

А сейчас? Разве не будет больше такой же радости, такого же счастья?... Она едет к нему, к милому. Он зовет ее, ждет. Товарища прислал, чтобы поторопить. Деньги на дорогу. Платье. Значит, любит же? Почему же не бывать такому же счастью? Хочется Васе верить, что счастье будет, а на дне сердца шевелится червячок. Не верится... Почему? Что изменилось?

И опять думает Вася, вспоминает...

Расстались они тогда неожиданно. Передвинулся фронт. Уехал Владимир, когда Вася еще совсем слаба была, еле ноги передвигала. Расстались хорошо, тепло. Про сестру не упоминали. Поняла Вася, что она в самом деле для Володи все равно что «стакан водки – выпьешь и забудешь»...

Вернулась Вася к себе и сразу за работу. Тогда казалось, будто все опять по-старому, по-хорошему. А теперь Вася вспоминает, что что-то уже тогда на сердце легло. Где-то на самом дне шемила не то обида на Володю за сестру с пухлыми губами, не то недоверие... А все-таки крепко любит Вася Володю. Забота общая да болезнь еще крепче спаяли их. Раньше «любились», а еще родными не были. Теперь, как горе вместе пережили, еще ближе сердцем... Но уже радости светлой, что весеннее утро, любовь Васе не давала. Потемнела она, будто тучами заколочена. Зато глубже да крепче стала.

Впрочем, до любви ли, до радости тогда было? Фронты, разлука... Заговоры... Мобилизации коммунистов. Со всех сторон угрозы. Каждому работы по горло... Пришлось с беженцами Васе возиться... В жилотдел Совета попала. А тут и родилась у ней мысль дом-коммуны создать. По своему соображению да с помощью Степана Алексеевича... Он ее поддерживал. Советом. Финансами. И ушла Вася с головой в дело.

Так и жила. Месяцы. Вспоминать Володю вспоминала, в сердце своем всегда носила, а скучать по нем некогда... Да и он на работе, и будто все гладко идет. Не хорохорится. С «верхами» да главками в мире живет.

И вдруг нагрязнул Владимир в Васину светелку. Нежданно-негаданно. При отступлении попал в перестрелку. Ранили. Не опасно. А передышка нужна. Дали отпуск. Вот и приехал «к жене на харчи»...

Рада Вася. А все-таки мысль шевельнулась: зачем так случилось, что сейчас он тут? Что стоило месяца два раньше или там через месяц? Сейчас как раз у Васи – забот, дел не обе-

решься!.. Съезд, реорганизация жилотдела, борьба из-за дома-коммуны... Ну, просто делам конца не видать!.. И так-то не разорваться. А тут еще Володя. Да еще раненый. Уход нужен... Как быть?

Забота заволакивает Васину радость.

А Владимир весел, как дитя.

Сапожки ей привез, как обещал еще тогда, в первый день ее приезда к нему...

– А ну-ка, примерь, Вася. Каковы-то будут в новых сапожках твои ножки-игрушки?

Василисе некогда. Заседание в жилотделе. Но нельзя же Владимира огорчить.

Примерила. И будто в первый раз увидела свои ноги. И правда, игрушки.

Смотрит на Володю счастливыми глазами, даже и поблагодарить не умеет...

– Подхватил бы тебя на руки, Васютка, да рука не позволяет... Люблю я «ножки твои...

И очи твои карие!

Доволен Владимир, оживлен. Радостен. Рассказывает, шутит.

А Васе давно на заседание пора. Одним ухом мужа слушает. На будильничек глядит, что на комодке рядом с зеркальцем стоит. Бегут минуты... Уходят... А на заседании ее ждут. Сердятся: зачем людей задерживает? Не годится председателю опаздывать!..

Только к вечеру вернулась Василиса домой. Усталая. Неприятности были. С заботой на душе.

Подымается по лестнице к себе в светелку и думает: «Вот и хорошо, что Володя приехал. С ним заботой поделюсь, посоветуюсь...»

Вошла, а Володи-то и нет. Куда ушел? Шапка на месте, и пальто висит.

Верно, на минуточку отлучился. Прибрала комнату. Чай на керосинку поставила – Володи все нет.

Куда же запропастился? В коридор вышла. Не видать. Посидела, подождала. И затревожилась. Куда деться мог?

Только опять в коридор вышла, а Владимир из квартиры Федосеевых выходит. Смеются, друзьями такими прощаются... Зачем Володя к ним пошел? Знает ведь, что склочники!

– Вернулась наконец, Вася? А я тут, в твоей клетке, чуть с тоски не повесился... Весь день один. Хорошо, что в коридоре товарища Федосеева встретил, к себе затащил...

– Не водись с ними, Володя. Знаешь сам, что склочники!..

– Что же мне, прикажешь в твоей клетке одному с тоски помирать? Не убегай от меня на целый день, так и я к Федосеевым ходить не стану...

– Так ведь у меня дела... И рада бы скорей домой, да не могу... Не выходит!..

– Дела! А как же я-то, Вася, когда ты тифом болела, все ночи у тебя просиживал? Да и днем урывал, за тобой приглядеть?... Я же, Вася, к тебе раненый приехал... Еще и лихорадка не прошла...

Слышит Вася в голосе упрек. Обижен Владимир, что она на весь день ушла. А как же быть-то? Ведь в отделе реорганизация, съезд на носу...

– Будто не рада ты мне, Вася, говорит Владимир. Не такой я ждал тебя встретить...

– Ну что ты говоришь! Я-то не рада?... Да я... Милуша ты мой, драгоценный!.. Муж ты мой ненаглядный!

И бросилась к нему на шею. Чуть керосинку не опрокинула...

– То-то... А то уж я думал: не разлюбила ли? Не завела ли другого? Такая холодная, равнодушная... И глаза чужие. Неласковые.

– Устаю, Володя... Сил нет со всем справиться.

– Буян ты мой неугомонный, – прижимает к себе Владимир Василису, целует...

Так и зажили вдвоем в ее клетушке-светелке.

Сначала ничего было. Хоть и трудно Васе разрываться между делом и мужем, а все же радостно. Есть с кем потолковать, посоветоваться, неудачей поделиться, планы новые разобрать.

Только хозяйство очень мешало. Владимир на фронте привык как следует питаться. А у Васи что за хозяйство? Обед советский да чай в прикуску с леденцом. На первые дни хватило продовольствия, что Владимир привез.

Захватил малость провизии, муки, сахару, колбас... Знаю, что ты все равно, что воробей под крышей живешь – ни зерна не припасла.

А как кончились Володиные продукты, пришлось на советский обед перейти... Володе не нравится, морщится.

– Что это ты меня все пшеном да пшеном кормишь? Вроде как петуха.

– Так ведь ничего не достать! Живу на паек...

– Ну, как так ничего не достать! У Федосеевых не больше твоего, а вчера целым обедом угостили. И хорошим. Картошка жареная. Селедка с луком...

– Так ведь Федосеихе время есть хозяйство вести... А я, сам видишь, из сил бьюсь, только бы дела все переделать.

– Много на себя берешь, потому так и выходит. На что тебе эта возня с домом-коммуной? Вот и Федосеевы говорят...

– Что Федосеевы говорят, сама знаю! – вспыхнула тогда Вася; разбидало ее, что Владимир с ними, с ее «врагами» водится. А вот что ты их слушаешь, да еще против моего дела с ними говоришь, это с твоей стороны не по-товарищески!..

Поспорили тогда. Оба погорячились. Потом обоим на себя досадно стало. Помирились. А все-таки Васю еще больше мучить стало, что нехорошо она за мужем смотрит. Раненый к ней приехал, а она его советским обедом кормит!.. Он о ней больше заботы имеет, сапожки привез...

Мучается Вася, что не ест Володя. Похлебает ложки две да и тарелку отставит.

– Лучше голодный сидеть буду, а твоей советской бурды глотать не стану... Завари чай да раздобудь хлеба у кого-нибудь. С фронта муки пришлю. Ты потом отдашь.

Так дальше продолжаться не может. Надо что-нибудь придумать.

Бежит Вася на заседание. А в голове резолюция с пшенной кашей путается... Что бы вместо нее к обеду Володе подать?...

Будь у нее время, выпуталась бы, придумала, изобрела.

Навстречу сестрица двоюродная. Обрадовалась Василиса. Ее-то и надо. Дочка у ней. Девонька расторопная, бойкая. Училище кончила. Теперь при родителях без дела живет, матери по хозяйству помогает. Стешей зовут.

Договорились с двоюродной: Стеша к ней днем пускай приходит, за хозяйку будет; Василиса за это с сестрицей пайком поделится. Порешили, и поспешила Василиса на заседание с облегченной душой. Завтра уже Володю как следует накормят.

Стеша оказалась смекалистой. С Володей поладила. Вместе хозяйство развели. Кое-что из пайка обменяли, кое-что из кооператива Володя достал, по старому знакомству. Вася довольна, Володя на еду больше не жалуется. Но на Васю обижается: «Обо всех у тебя забота, а меня будто и нет».

Больно это Васе. И так разрывается между делом и Володей. Надо же ему было в такое горячее время приехать!

Объясняет Владимиру. Он хмурится. Будто не понимает.

– Холодная ты стала, Вася, и целоваться-то разучилась.

– Устаю больно, Володя... Сил нет у меня, – говорит она виновато.

А Володя хмурится. Но сама понимает Вася, нехорошо это: муж в кои-то веки навестить приехал, а она с утра по делам пропадает, а вечером вернется ног под собою не чувствует. Только бы до подушки добраться. Где уж до поцелуев!..

Раз случилось совсем нехорошо: стал Володя ее ласкать, а она как на постель легла, так и заснула...

Владимир наутро дразнил: что за радость мертвое тело ласкать? Шутит, а видно, что он обиделся. И самой так нехорошо, точно виновата перед ним... И в самом деле еще подумает, что мало любит!.. А где же на все сил-то взять?...

Вернулась раз Вася раньше обычного. Владимир сам обед стряпает.

– Что такое? Где же Стеша?

– Дрянь оказалась твоя Стеша. Выгнал. Если посмеет еще показаться, с четвертого этажа головой вниз спущу.

– Да что же случилось такое? Что она сделала?

– Уж поверь мне, что дрянь девчонка... Зря бы не выгнал. А рассказывать тебе – только тебя же расстраивать... Подлая, развратная тварь! И чтобы и духом ее больше не пахло.

Видит Вася, что уж очень обозлила Стеша Владимира. Решила пока не расспрашивать. Думала: «Верно, своровала что-либо девчонка. Теперь это часто бывает. А Владимир вещами своими дорожит. Есть у него этот душок собственника, хоть и добрый и всегда с товарищем поделится. Но чтобы самому взять у него – ни боже мой! Не простит!..»

– Как же тогда у нас с хозяйством будет?

– А ну его, хозяйство! Буду в столовки ходить. Да и товарищи разыскались... Не пропаду.

Стеша пришла к Василисе в жилотдел. Паек свой требовать.

– Что у тебя с Владимиром Ивановичем вышло, Стеша? Что ты там натворила?

– Ничего я не натворила, – блеснула глазами Стеша и гребешок в волосах подправила, – а только лезет ко мне твой Владимир Иванович, так я ему здорово по морде дала... Долго потом кровью плевался. Чтобы неповадно было!

– Глупости ты говоришь, Стеша, Владимир Иванович просто пошутил с тобою, – старается Вася говорить спокойно, а у самой в глазах темнеет.

– Хороши шутки! Уж на кровать повалил... Хорошо, что я сильная... Меня неволей не возьмешь!

Пробует Вася разубедить Стешу, доказать, что все это была шутка, игра, что Владимир Иванович теперь на нее очень разобижен. Стеша только упрямо губы надувает. Как бы не так! Ну да не ее это дело! А уж больше она к ним ни ногой. Ну его и с пайком...

Темно стало на сердце у Васи. Но нет упрека, нет и обиды на Володю. Сама виновата!.. Зачем холодной стала? Обидела милого, пожалуй, думает, что и в самом деле разлюбила? Нехорошо только одно – зачем девоньку трогал? Ведь Стеша почти ребенок еще!.. Хорошо, что смекалистая да жизнь знает. А то что бы было? И все-таки грызет и грызет червячок на сердце Василисы. Сама не знает: сказать ли Владимиру, что все она знает, или уж лучше промолчать?... Вина-то и на ней лежит. Но говорить с Владимиром Васе так и не пришлось.

Настала новая полоса: Владимир старых приятелей разыскал, торговослужащих да из кооператива. Пропадает теперь по целым дням. Не видятся они с Васей. Уходит Вася утром в жилотдел или в комитет, а Володя еще крепко спит. Забежит днем – нет Володи. Вернется вечером, пуста ее светелка...

Досадно Васе. Не знает, не то спать ложиться, не то с чаем дожидаться. Нагреет ужин на керосинке, бумаги свои разберет к завтраму. Прислушивается к шагам в коридоре...

Нет Владимира.

Потушит керосинку (экономить надо) и опять за бумаги свои возьмется. Доклады проглядывает, прошения сортирует...

Кто-то спешит по лестнице... Он? Нет, не Владимир.

Ложится Вася одна. От усталости скоро засыпает. А и во сне все прислушивается: не идет ли милый?... Грустно без него, холодно.

Бывает, что вернется он довольный, веселый. Разбудит Васю, приласкает. Полон рассказов, новостей... Планы всякие.

Хорошо станет у Василисы на душе, легко так. Радостно. Грусть отойдет.

Но случается, что и нетрезвый вернется Владимир: тяжелый, мрачный, с пьяными слезами... Себя корит да и Васе упреки бросает, что в клетушке под крышей!.. Ни веселья тебе, ни утечи... И жена-то не жена!.. И ребенка-то у них нет...

Это Васе особенно больно. Она-то о ребенке не думала, но ему-то радость эту доставить хотела бы... А вот нет же! Не беременеет!.. Другие плачутся, не знают, как от ребят спастись, а ей, Васе, материнство, видно, заказано...

«Малокровие», – доктор говорит.

Решил Владимир Васю повеселить, в театр свести. Билеты получил.

Пришла Вася домой к назначенному часу, Владимир перед зеркалом красуется. Франтом таким вырядился, опять на барина похож стал... Смеется Вася, дразнит его, любит мужа-красавца!..

– А ты что оденешь? – заботливо глядит. Неужели у тебя праздничного платья – нет?

Смеется Вася. Какие такие праздничные платья? Это у них там, в Америке, рядятся да платья на всякие дни придумывают!.. Оденет чистую блузку да сапожки новые, что Владимир привез, вот и весь наряд!..

Нахмурился Владимир. И такими сердитыми глазами на Васю поглядел, что Вася даже напугалась...

– Ты думаешь, что в театре все только на ноги твои и глядеть будут?... А что выше, то хоть рогожным мешком прикрой?

– Не понимаю, Володя, чего ты обозлился?

– Обозлишься тут с вами, с государственниками... Жизнь завели все равно что монастырь или тюрьма... Ни утечи тебе, ни приличного платья, ни дома-то настоящего... В клетке живи, воду пей, бурду хлебай, в рубищах щеголай... Да я в Америке и в безработицу лучше жил...

– Так ведь все сразу же нельзя!.. Сам знаешь – разруха...

– Убирайся ты со своей разрухой!.. Организаторы нашлись!.. Сами развалили, а как начнешь налаживать, кричат: буржуем заделаться хотите? Подай назад!.. Жить не умеете! Потому и развал идет... Не для того я революцию делал, чтобы этакую жизнь вести!

– Так разве мы для себя революцию делали?

– А для кого же?

– Для всех.

– И для буржуев?

Что глупости говоришь! Ну, конечно, не для буржуев! Для рабочих, для пролетариев...

– А мы-то, по-твоему, кто? Не рабочие? Не пролетарий?...

Спорили, спорили, чуть в театр не опоздали.

Идут по улице, грязь весеннюю месят, Владимир впереди, шагает крупно, молчит; Вася еле за ним поспекает.

– Да не шагай ты так, Володька!.. Запыхалась вся.

Остановился сердито. Дождался Васи. Тише пошел, а молчит.

В театре Владимир знакомых встретил: ними все антракты провел. Вася одна сидит.

Не было радости ей в театре. Зачем вечер потеряла? Завтра вдвое работы...

Незадолго до отъезда Владимира съезд открылся. Хоть Владимир и не делегат, а на съезде присутствует. Споры шли, группировки образовались. Владимир с Васей идет; с душой в группировку ушел. Приятелей забросил. Теперь неразлучны Вася и Владимир. Вместе на съезд,

вместе со съезда. Дома обмозговывают выступления. У Васи в комнате теперь народ толчется, из группировки. Резолюции пишут. Машинку притащили. Владимир за машинистку. Бодро так работают. Дружно. Сплочены все. Волнуются, спорят... А то и хохочут. По-молодому, без причины. Сама борьба нравится, увлекает.

И Степан Алексеевич с ними. Сидит, бороду свою седую, купецкую поглаживает да ласковыми, живыми глазами на молодежь поглядывает. Василиса все с ним шушукается. А он ее ценит. «Черепок, – говорит он, – у ней недюжинный». А к Владимиру будто охладел. Вася это подметила. Больно ей. За что? И Владимир его невзлюбил в этот раз.

– Очень уж елейный твой Степан Алексеевич... Ладаном от него несет. Не боевой коммунист. Подпольник, и больше ничего.

Группировка Васи провалилась. Но голосов собрала больше, чем ждали. И то победа!..

К концу съезда Владимиру срок отъезда настал. Опять разрывается Вася: тут мужа в путь-дорогу снаряжай, а тут еще съезд не закончен...

А все-таки на душе у Васи светло. Опять чувствует она: муж не просто муж, а товарищ. И гордится им – много он группировке помог. Товарищи отпускать его не хотели.

– Ну, Васюк, прощай!.. Остается мой воробей под крышей один-одинешенек... Некому ему теперь поскулить на свои неудачи. Зато никто мешать тебе в работе не будет...

– Да разве ты мне мешал? – обняла его Вася за шею, ласкается.

– Сама говорила, что муж время твоё берет... На хозяйство жаловалась...

– Не поминай про то!.. Без тебя хуже. И голову к нему на грудь запрятала.

– Ты не муж мне только, ты товарищ. За то так и люблю тебя.

Нежно распрощались. По-хорошему.

Но как проводила Вася Владимира да на съезд поспешила, вдруг почувствовала: а все-таки как ни хорошо вместе, одной свободнее. Пока милый тут, все мысли двоятся, дело-то промеж рук идет. А сейчас она опять вся тут, в работе. Работа да отдых. С мужем и сна-то нет настоящего.

– Проводили мужа? – спросил ее на съезде Степан Алексеевич.

– Уехал Владимир.

– Оно и лучше. Замотались вы с ним. – Удивилась Вася: откуда Степан Алексеевич знает? Смолчала. Признаться тоже не хочет, будто мужу обидно.

Чуть светает, а Василиса уже на ногах. Поезд утром придет. Надо успеть прибраться, приодеться, чтобы Володе, мужу милому, понравиться. Шутка ли, семь месяцев в разлуке!

Хорошо на сердце у Василисы, по-весеннему светло, радостно.

Нэпманша еще в постели потягивается да, лежа на спине, в ручное зеркальце лицо свое рассматривает. А Вася уже умыта, тщательно кудряшки расчесаны, и новый костюм на ней, тот, что Груша сшила. Смотрит на себя Василиса в зеркало вагонное и видит одни свои глаза, а глаза так сияют, что и все лицо хорошеет.

Как будто все в порядке. Этот раз Володя не будет попрекать, что в «рванье ходит».

Полустанок. Выглянула в окошко Василиса. Утро раннее, а солнце печет. На севере еще весна только-только намечалась, а здесь все в цвету. И деревья. Какие-то непривычные, особенные. Листья вроде как у рябины, только цветом по-нежней, а целиком белыми гроздьями засыпаны. На сирень похоже, а все же не сирень. И запах прямо в окно ударяет, сладкий, приторный.

– Что это за деревья? – спрашивает Вася проводника. – У нас таких нет.

– Белые акации.

– Белые акации? Красивые какие. – Проводник сорвал несколько веток и Васе дал. Пахнут-то как! И так радостно у Васи на душе, что заплакать хочется.

Уж очень все кругом интересно, красиво. А главное... Главное, «через час Володю увижу, желанного, милого».

– Скоро ли приедем? – пристаёт Вася к проводнику. Кажется ей, что поезд ни с места. Застрял еще на разъезде. Пыхтит, пыхтит, а не двигается. Пошел, наконец.

Вот и город виден. Собор. Казармы. Пригород. Платформа вокзала. Где же Володя? Где? Ждет его Вася у раскрытого окна. А Володя с другого конца вагона вскочил да и обнял ее.

– Володька! Ишь ты... Напугал. – Поцеловались.

– Давай скорее твои вещички. Вот познакомься: секретарь наш. Иван Иванович, забери-ка вещи, а мы к автомобилю пойдем. У меня, Вася, теперь пара лошадей, своя корова, автомобиль... Хочу еще поросят развести. Места у нас много, целая усадьба. Поглядишь сама. Помещицей жить будешь. Дело налаживается. Недавно свое отделение в Москве опять открыли. – Рассказывает Владимир, спешит поделиться всем, чем живет сейчас, чем мысли полны. Вася, усевшись в автомобиль, слушает. И хоть и интересно ей про Володино узнать, а хотелось бы раньше про свое рассказать, да и от него услышать: как без нее жил? Скучал ли? Очень ли ждал ее, Васю?

Подъехали к дому. Особняк с садом. Подросток рассыльный в шапке с галуном у дверей сторожил. Помог из автомобиля сойти.

– Поглядим, Вася, понравится ли тебе в нашем доме. Лучше ли, чем в твоей клетушке под крышей?

Лестница с ковром. Зеркало. Передняя. Шляпку сняла Вася, пальтишко сбросила. Вошли в «парадные комнаты». Диваны, ковры... Столовая с большими часами. Картины в раззолоченных рамах, на них фрукты, дичь на гвозде висит.

– Ну что? Нравится? – Владимир горд, сияет.

– Нравится, – неуверенно отвечает Вася, а сама озирается кругом. Еще сама не знает: нравится ли? Такое все чужое, незнакомое. А тут уж наша спальня. И Владимир широко распахивает дверь. Спальня выходит двумя окнами в сад. И это сразу нравится Васе. «Деревья!» – говорит она радостно. Белые акации. И спешит к окну.

– Да ты раньше на комнату-то посмотри, в саду не успеешь набегаться... Плохо, что ли, устроил для тебя? Все сам подбирал да расставлял. Как дом занял, все тебя ждал.

– Спасибо, милый... Вася тянется, чтобы поцеловать Володю, но он, точно не заметив, за плечи поворачивает её к большому зеркалу в шкафу.

– Видишь, как удобно, перед этим зеркалом всю себя видеть можешь, как одеваться будешь. Внутри полки... Для бельишка там дамского, шляпок да тряпок...

– Да какие же такие у меня шляпки да тряпки! Нашел даму! – смеется Вася.

А Володя свое:

– Погляди, кровать-то какая! Одеяло шелковое, стеганое. С трудом достал. Это уж свое, не по инвентарю принял. На ночь фонарь розовый зажечь можно...

Водит Васю Владимир, каждую мелочь Васе показывает, как дитя сам радуется. Разве не уютное гнездо жене устроил? А Вася слушает, улыбается на его радость, а самой как-то на душе нехорошо... Что и говорить, красивая комната, барская! Ковры, занавеси, зеркала... А чужая какая-то. Точно не в свою квартиру попала. Нет того, что Васе нужно. Даже и столика не видать, куда книжечки свои, бумажки разложить... Только и нравятся Васе, по-настоящему нравятся два окна, что в сад выходят, на белые акации глядят.

– Приберись теперь, помойся, да и завтракать пойдем, – говорит Владимир и идет к окну, чтобы шторы спустить.

– Зачем ты это делаешь? – останавливает Вася. – Так красиво на сад глядеть.

– Нельзя. Днем надо шторы спускать. Обивка вылиняет.

Спустились серые занавеси, как тяжелые веки закрыли садовую зелень, что в окно гляделась. И стала комната серая, скучная и еще больше чужая... Моет руки Вася, перед зеркалом кудри свои расчесывает...

– Это что же ты? Из той материи, что я тебе прислал, костюм себе сшила?

– Ну да, из той самой... – Ждет Вася похвалы, глядит на Володю, вопрошает.

– Покажись хорошенько, – поворачивает Васю туда, сюда. По лицу видит Вася – не понравилось!.. Что это тебе вздумалось бока себе наворотить? У тебя фигура-то узкая, как раз для модных платьев. Чего ты себе уродство этакое устроила?

Стоит Вася растерянная, покрасневшая, виновато мигает.

– Как уродство?... Груша сказала, что такая мода.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.